

НИКОЛАЙ ПОКИДЫШЕВ

**70-летию начала Великой Отечественной войны,
70-летию начала блокады Ленинграда,
всем, кого опалило военное лихолетье,
посвящается**

ОСКОЛОК В ПАМЯТИ

г. КУРГАН

2011 г.

ББК 84Р6

П 48

Николай Александрович Покидышев

«Осколок в памяти»

Автор выражает благодарность за помощь в подготовке документальных материалов для книги Белошейкиной (Ивановой) Татьяне Алексеевне, Гавриловой Светлане Игоревне, аспиранту Уральской государственной архитектурно-художественной академии, Образцовой (Глинкиной) Раисе Алексеевне, Гусевой Людмиле Анатольевне, заведующей филиалом № 17 Центральной городской библиотеки имени А.С.Пушкина (г. Каменск-Уральский), Зенковой Любове Васильевне, сотруднику городского Краеведческого музея имени Ивана Яковлевича Стяжкина (г. Каменск-Уральский), Румянцевым Марии Ивановне и Владимиру Валентиновичу, Вознюк Вячеславу Петровичу, Душкину Вячеславу Павловичу, Кашубскому Евгению Вадимовичу, директору школы № 7, Пермякову Валерию Ивановичу, Соболеву Сергею Алексеевичу, Черкашину Александру Валентиновичу, начальнику отдела Каменск-Уральского металлургического завода, Шатову Николаю Александровичу, Шипилову Михаилу Алексеевичу, Шуваловой Любове Васильевне.

Глубокую благодарность за финансовую помощь в издании книги автор выражает Душкину Вячеславу Павловичу и Соболеву Сергею Алексеевичу

РЕЦЕНЗИЯ

на книгу члена Союза писателей России Н.А. Покидышева

«Осколок в памяти». Курган.2011 г.

Представленное к рецензированию издание посвящено памятным для всего населения нашей страны событиям – 70-летию начала Великой Отечественной войны и 70-летию начала блокады Ленинграда!

Материал книги может вызвать неподдельный интерес у читателей любого возраста – от школьника до пожилого человека, и особо – у жителей Курганской области, так как много непосредственных действующих лиц, «прописанных» на страницах книги, являются уроженцами нашей малой Родины – Южного Зауралья.

Будущий читатель найдёт для себя богатейшую информацию по истории появления на карте России, тогда СССР, нового города, Каменска-Уральского, строивших его людей, с краткими их биографиями, с географией выхода мест их первоначального поселения – из Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Саратовской, Пермской и других областей.

Читатель найдёт в книге много совершенно неизвестной до настоящего времени действительно достоверной, правдивой информации о военных и трудовых буднях жизни всего советского народа, как говорилось в одной из легендарных песен «От Москвы до самых до окраин!»: о советско-финской, второй мировой, Великой Отечественной войнах, о ходе строительства нового города, его военного завода, о работе создававших его людей на износ, о падавших в рабочее время от переутомления и истощения в голодный обморок заводчан за станком, попадавших в заводскую больницу на излечение...

Книга ценна наличием в ней не парадной, праздничной, а обычной, повседневной, будничной информации о жизни простого человека, сложностях его учёбы, труда, войны (учебные, трудовые, боевые будни,

ранение, госпиталь, плен, побег...). Потрясают факты проводившегося в Ленинграде патрулирования его улиц, борьбы с мародёрством, смертей ленинградцев от голода в возрасте не старше 20 лет, о бомбёжках города вражескими самолётами, о гибели от этих бомбёжек жителей целых многоэтажных домов, о самом явлении блокады уникального города Ленинграда, о процессе спасения ленинградцев через эвакуацию их на Большую землю, о качестве продуктов их питания... Уникальны приводимые факты встреч бывших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны более чем через 30 лет после её начала.

Исключительно богат материал книги, раскрывающий сам процесс возникновения реально города Каменска-Уральского со всеми его сложностями и тонкостями: строительство землянок, барачных, сараев, нормальных одноэтажных и двухэтажных домов, спортзала, столовой, завода, кондитерской фабрики, школы; обычная жизнь представителей различных поколений, их духовный мир, круг чтения...

Книгу существенно обогащает значительное число стихов, принадлежащих перу автора. При их чтении создаётся ощущение, что их написавший сам был участником событий, отстоящих от нас на 70 лет.

Материал книги, несомненно, воссоздаёт дань уважения всем нашим соотечественникам, принявшим участие в трудовых и боевых буднях того далёкого времени, приближавшим день Победы, в том числе особо – нашим зауральцам.

Книга рекомендуется к публикации: её материал будет полезен школьникам, студентам, аспирантам, учителям школ, преподавателям вузов. Материал книги будет очень полезен при военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения!

Действительный член Академии военных наук

В.В. Пундани

27 апреля 2011 г.

ВОЙНА, КОТОРОЙ НЕ ЗАБЫТЬ

Война – это слово для многих из нас с самого раннего детства, наверное, стало следующим после «мама» и «папа».

Не к каждому вернулся папа.

Мы росли среди последствий войны – ведь не прошло и пяти лет после её окончания, как мы появились на свет.

Мне, семилетнему, отец показал дом своей сестры Анны Дмитриевны в Крюково – не в воспетой в песне деревне Крюково, а в станционном посёлке. Во время боёв за Москву тот дом стоял на рубеже между нашими и фашистскими окопами. С западной стороны он был изрешечён вражескими пулями, с восточной – пулями защитников столицы...

Мы жили среди последствий войны всегда.

Их можно было не только видеть, но и трогать руками.

В 1975 году мне пришлось служить в Минске. Там, в сквере около одной из центральных площадей города, во время оккупации, фашисты устраивали публичные казни мирного населения через повешение. Те места на ветвях деревьев, где крепили верёвки, за тридцать лет не смогли зарости корой, и оставались видны невооружённым глазом ...

Я прикасался к коре тополей на месте бывшего концлагеря Тростянец. Созданный после оккупации Минска для советских военнопленных, он просуществовал практически до подхода наших войск.

Наступление было стремительным, и у фашистов не осталось времени на плановую ликвидацию. Ликвидировали лагерь поспешно и с неподдающейся пониманию бесчеловечностью: выкопали бульдозерами траншеи, на краю траншей партию за партией ставили военнопленных и торопливо расстреливали. Тела убитых и раненых лопатами бульдозеров сталкивали в траншею. Потом разровняли землю на месте преступления...

Тополя здесь выросли огромные...

Я прикасался к израненным стенам Кобринского редута в Брестской крепости, к свисавшему сосульками кирпичу во внутренних капонирах, откуда защитников выжигали огнемётами.

Я гладил в Ленинграде стену дома с памятной надписью «Эта сторона опасна во время артобстрела».

На Пискаревском кладбище мне не хватило бы дня, чтобы прочитать фамилии всех захороненных. Но я искал одну: фамилию старшего брата отца с инициалами В. Д. – Василий Дмитриевич...

Семьдесят лет прошло с июньского утра сорок первого года.

Семьдесят лет прошло с 8 сентября 1941 года – Дня начала блокады Ленинграда.

В каждой семье своя память о войне...

С ней трудно жить, но прошлое не изменишь.

Прошлое не изменишь, но забыть прошлое – значит, предать его.

Печальная дата – начало Войны.

И, всё-таки, самым важным для всех солдат, не вернувшихся с неё, и для тех, кто вернулись, но не дожили до сегодняшнего дня, для всех нас, да пребудет всегда наша Память о них...

ТАМ, ГДЕ РОДИЛСЯ И РОС

Грандиозность всего несостоявшегося в жизни страны и людей из-за начавшейся Великой Отечественной войны невозможно себе представить: слишком всё огромно и необъятно. В неподдающихся пониманию цифрах куда-то, на очень дальний план, уходит горе одной семьи, страдания, выпавшие на долю каждого, кого опалили годы военного лихолетья.

Но когда речь идёт об одном городе и об одном человеке, то всё становится отчётливей и зримей, больней и дороже. Особенно, если речь идёт о месте, где ты родился и рос, о твоих родных и близких.

Поэтому я хочу говорить о дорогих моему сердцу местах и дорогих моему сердцу людях.

Жизнь не признаёт сослагательного наклонения.

Но оно вполне допустимо в лирической строчке «...если б не было войны».[1] И не менее допустима проекция его присутствия при противопоставлении конкретных фрагментов из документов.

Вот первый из них о моём родном Каменске-Уральском:

«...проектами 1934 г. была намечена планировка центрального ядра соцгорода УАЗа. [2]

...Данный проект... разрабатывался с логическим зонированием территории: жилыми, административными, учебными, лечебными, культурно-просветительскими зонами, зонами для спорта и отдыха...

На правом берегу р. Исети предусматривалось возведение жилых массивов, административного центра, железнодорожного вокзала, техникума, театра, стадиона, зоопарка, ботанического сада.

На живописных берегах планировались спортивно-оздоровительные комплексы и зоны отдыха: водные станции, лыжный трамплин, бухта для яхт, речной вокзал.

Следует отметить обилие зеленых зон внутри микрорайона и по его периметру. В соцгороде предусматривалось создание скверов и парков,

озеленение внутри кварталов и вдоль улиц, возведение индивидуальных усадеб с индивидуальными домами и огородами при них.

С восточной стороны микрорайона вдоль правого берега р. Исети... предусматривалось возведение жилых семиэтажных домов... Дома размещены в окружении зеленой полосы скверов. В центре этого комплекса предполагалась композиционная доминанта – высотное здание...»[2]

Таким мог стать мой город, «...если б не было войны».

Ещё фрагменты из документов:

«**1939 год.** 3 июня 1939 года вышло Постановление Экономсовета СССР №513-99С о строительстве в районе г. Каменск-Уральский завода № 268 как базы по производству магниевых сплавов.» [3]

«...9 июля 1939 г. на заседании Совнаркома было принято постановление о строительстве в Каменске в рамках Наркомата авиационной промышленности* металлургического завода для обеспечения самолетостроителей полуфабрикатами из алюминиевых сплавов. В 1939 г. южнее деревни Волкова началось строительство заводской площадки и подъездных путей к ней [20 с. 6-7], возведение первых жилых домов и бараков для строителей...»[2]

«**1940 год.** 4 февраля Нарком авиапромышленности утвердил проектное задание. В мае начались первые строительные работы по возведению завода, с октября – подразделениями стройтреста №5 НКАП»[2]

Так было положено начало заводу, с которым будет связана вся жизнь моих родителей, родителей моих сверстников и жизнь тех из них, кто тоже будет работать на этом заводе.

Среди первых строителей приехал в Каменск по комсомольской путёвке Александр Михеевич Шатов. Во время одной из командировок в деревни нынешних Катайского и Шадринского районов, относившихся в то время, как и сам Каменск-Уральский, к Челябинской области, Александр Михеевич познакомился с симпатичной девушкой Надей – Надеждой

Николаевной, весёлой и задорной певуньей. Парень с Брянщины и девушка из Саратовской области всю жизнь пройдут вместе.

В 1940 году, после окончания школы фабрично-заводского ученичества, из Челябинска на вновь строящийся завод прибыл четырнадцатилетний паренёк Соболев Лёша – Соболев Алексей Степанович, родившийся в деревне Буркино под Каменском. Скорее всего, он не загадывал очень далеко, а просто был рад работе на важном оборонном предприятии, но вся жизнь Алексея Степановича окажется связанной только с этим заводом.

«...Если б не было войны», Маша Кульгузкина, как и Надежда Николаевна Шатова, тоже родившаяся среди саратовских просторов, жила бы по-прежнему в родных местах, и, наверное, никогда бы и не узнала, что за далёкими Уральскими горами есть город Каменск, а на его юго-восточной окраине уже строятся заводские цеха, в один из которых она придёт ученицей токаря.

Если б не было войны, отец после срочной службы в Ленинградском военном округе вернулся бы на свой Московский электромеханический ремонтный завод**.

Родители мамы Степан Степанович и Анисья Антоновна в середине тридцатых годов покинули родное тамбовское село Подгорное на берегу реки с красивым названием Пальной Воронеж по призыву «На стройки пятилетки!» и уехали в Ступино***. В те времена в народе такой переезд называли «завербоваться на завод». «Завербовались» они на Ступинский металлургический завод № 150.

На этом же заводе трудились бы по-прежнему и другие жильцы нашего дома № 5 по улице Западной: Шипилов Алексей Михайлович, уроженец Тамбовской области, и его жена Эмма Антоновна, Глинкины Алексей Иванович, из Москвы, и Ульяна Митрофановна, родом из Воронежа.

Из Тамбовской области в апреле 1939 года призвали на срочную службу в Ленинградский военный округ Душкина Павла Васильевича, уроженца Воронежской области.

В ноябре этого же года, в составе 287 стрелкового полка, Павел Васильевич примет участие в войне с белофиннами.

Об этой войне до нынешней поры немного достоверно известно. Историки называют её «вооружённым локальным двусторонним конфликтом». Дело, конечно, не в названии, а в том какие жертвы принёс с собой этот «конфликт»: официальные цифры советских потерь в войне были обнародованы на сессии Верховного Совета СССР 26 марта 1940 года – 48 475 погибших и 158 863 раненых, больных и обмороженных.

Моему отцу из наставлений офицеров, вернувшихся с финской войны, особенно запомнился рассказ о «кукушках»: финских снайперах, умело маскировавшихся в зимнем лесу даже на деревьях, не говоря о «складках пересечённой местности», об умении быстро скрываться в случае обнаружения, в том числе на лыжах. Дозорной разведке приходилось всегда быть начеку, высматривая возможные места нахождения снайперов-«кукушек»...

Выполнить боевую задачу, и остаться живым в условиях такой войны было очень непросто. Опыт приходил с каждым боем.

Осенью сорокового года Павел Васильевич демобилизовался, устроился слесарем-сантехником в Государственный Союзный строительно-монтажный трест № 20 Наркомата авиационной промышленности. Трест уже начал монтажные работы на Каменск-Уральском заводе № 268. И всё, вроде бы пошло по мирным рельсам, думал забрать невесту, создать семью.

Но повторюсь: у жизни нет сослагательного наклонения.

Началась война.

«...21 июля Государственный Комитет Обороны обязал своим решением НКАП приспособить строящийся завод №268 для размещения в нем эвакуируемых

из-под Москвы литейного и прокатного цехов завода №150 (Ступинского металлургического завода)»[3]

Вместо запланированных семиэтажных домов, скверов и спортивно-оздоровительных зон отдыха начинается спешное строительство жилья для эвакуируемых рабочих.

«...Жилой поселок для рабочих и строителей расположился с северо-западной стороны от заводской территории вплотную к ней. Временными деревянными и кирпичными бараками застроили три квартала в границах улиц Центральной, Коммунальной, Слесарей, 4-й Проезд и ул. Западной с обеих сторон... В 1942 г. в поселении были возведены из дерева необходимые общественные здания: баня, больница, столовая, клуб...»[2]

И поехали на Урал со Ступинским заводом его довоенные работники, уроженцы Москвы и прилежащих к ней областей.

И начала война перемешивать судьбы людские.

С одним из первых эшелонов с эвакуированными приедет в Каменск из Саратовской области Маша Кульгузкина. На металлургическом заводе, она встанет к токарному станку, но ещё не над каждым цехом тогда были сделаны крыши. Здесь Маша встретится с Алексеем Соболевым, чтобы уже никогда не расставаться с ним, и называть её станут Марией Архиповной Соболевой.

Труд станочника и металлурга и в мирное время лёгким не бывает. А в те годы заводчан, терявших сознание от переутомления и истощения, поднимали на ноги в заводской больнице № 3.

Руководство завода находило резервы и лежавшим в больнице выдавали дополнительно сто двадцать пять грамм хлеба. Моя мама, Анна Степановна, шестнадцатилетней девушкой начала работать там медицинской сестрой. Она не помнит ни одного случая, чтобы хотя бы один кусочек хлеба «исчез», пока его несли больным в палату.

18 августа 1941 года уйдёт уже на вторую в своей жизни войну Павел Душкин. В декабре, под Ленинградом будет ранен: осколок пробьёт каску

чуть выше лба, но солдат останется жив. Останется и шрам от осколка – след от мимолётного прикосновения смерти, торопившейся к кому-то другому. После госпиталя радиста 8-го отдельного лыжного батальона 29 танковой бригады снова направят на Волховский фронт.

Позже он примет участие в битве на Курской дуге, в 1944 году – в боях на Карельском фронте, а в 1945 – до Победы – на Белорусском.

До конца мая 1946 года, продолжит службу в составе Группы Советских Оккупационных Войск в Германии.

В начале июня 1946 году гвардии старшина Душкин Павел Васильевич вернётся домой. На его гимнастёрке будут сиять четыре боевых медали.

Две войны, почти шесть фронтовых лет на тридцать один год жизни: пропорция, которая не каждому под силу...

Брестская крепость...

Сколько о ней написано и рассказано!

В августе 1975 года по делам военной службы мне пришлось побывать в Бресте.

Пройдя мимо монумента «Жажда», я свернул с мраморных дорожек мемориала цитадели, и пошёл в сторону нетронутых со времени войны руин, где от стен почти метровой толщины остался только битый кирпич. Поневоле одна мысль не оставляла меня:

– Как вообще кто-то мог здесь остаться в живых?

Именно в Брестской крепости начнётся война для солдата срочной службы, уроженца уральского села Борисово, Пермякова Ивана Прокопьевича. Тяжело контуженный, вместе с другими ранеными он попадёт в плен, пройдёт пять концлагерей.

Из последнего, с лирическим названием в русском переводе «Буковый лес», его в числе других жертв освободят американские войска. К моменту освобождения Иван Прокопьевич при его высоком росте будет весить *тридцать шесть килограмм*: весь мир до сих пор с содроганием произносит название этого лагеря: Buchenwald (Бухенвальд)...

После всех проверок, неизбежных для бывших военнопленных, вернётся на родной Урал, устроится на металлургический завод. Однажды он встретит свою будущую жену Анастасию Николаевну, которая ещё в войну, в шестнадцатилетнем возрасте, пришла на шихтовый двор литейного цеха. И оба, и Иван Прокопьевич, и Анастасия Николаевна, не сменят места работы до ухода на пенсию.

Петра Александровича Вознюка вместе с женой Галиной Николаевной партия направит из Пермской области в Каменск на завод обработки цветных металлов (ОЦМ). Завод создавался сходу из эвакуированных Кольчугинского, Московского прокатного и Ростовского фольгопрокатного заводов.

После Гражданской войны Пётр Александрович воевал с басмачами на Каспии, а в Отечественную ему выдадут «бронь» для работы на оборонном предприятии. И он будет работать на износ: в марте шестьдесят третьего уйдёт из жизни, не успев поднять на ноги сыновей Рудольфа, Вячеслава, Сергея и младшенькую Татьяну. Растить их придётся жене Галине – одной, на мизерную зарплату младшего медперсонала заводской больницы № 3.

Мой отец, Александр Дмитриевич, родился на юге Рязанской (тогда – Московской) области. Родина мамы, Анны Степановны, – на севере Тамбовской. По прямой дороге от деревни отца до деревни мамы было двести километров от силы. Но чтобы они встретились на Урале, отцу выпадут блокада, Ленинградский фронт, госпиталь после тяжёлого ранения и направление на завод.

Что это значило в действительности «временные деревянные бараки»? Их называли в народе короче и точнее: рабочие казармы. Они и были, по сути, казармами: внутри строения не было капитальных перегородок, а висели занавески, отделявшие пространство одной семьи от пространства другой. Все «удобства» находились на улице.

Но люди были рады и этой крыше над головой, месту, где можно было согреться и отдохнуть после работы в цехах под открытым небом.

«1942 год. 6 февраля была сдана в эксплуатацию первая электропечь литейного цеха. 14 февраля она дала первую плавку... В апреле ушел с завода в Верхнюю Салду первый вагон с первой продукцией(литые слитки) предприятия.»[3]

Завод начнёт «производство основных материалов и заготовок для самолетостроения частично для моторных заводов»[3], как будет записано в паспорте предприятия.

Шатов Александр Михеевич будет пытаться «вырваться» на фронт, но ему прямо скажут:

– Куда назначили, там и работай – это приказ. А то допрыгаешься!..

Шла война, был отодвинут генеральный план строительства города, но для людей делали всё возможное.

Уже появились бараки с внутренними деревянными перегородками. В соответствии с решением горисполкома для рабочих завода в 1942 году построили из дерева баню, больницу, столовую, клуб. Одновременно начинается строительство двухэтажного кирпичного здания школы № 7 на 400 мест – школы, в которую позже мы придём учиться.

По аналогии сразу же вспоминается один из разговоров с отцом о блокаде:

– Только представь себе, сынок: после самой тяжёлой первой блокадной зимы, сразу же, с началом весны сорок второго, в городе начали восстанавливать водопровод, канализацию, бани. Да, бани. И отдельный талон на помывку выдавали, при банях прачечные открыли. Даже занятия в школах начались...

В войну, мальчишкой, пришёл работать на Синарский трубный завод Ковалёв Василий Васильевич и работал там до ухода на пенсию.

Однажды, во время ночной смены, мы пришли с ним размечать заготовки труб для погрузки в полувагоны. Над площадкой с заготовками не горело несколько ламп, и не было видно маркировку диаметра.

Василий Васильевич снял рабочую рукавицу, обхватил пальцами правой руки заготовку из ближайшего стеллажа, отрицательно показал головой:

– Не те.

Потом также, обхватом пальцев, померил заготовки в следующем, и кивнул:

– То, что надо.

Моя растерянность от такого способа измерения, наверное, была видна даже при очень слабом освещении.

Стоявшие рядом машинист крана Александр Иванович Белоусов и второй стропальщик Николай Васильевич Катохин, улыбаясь, подтвердили:

– Не сомневайся. Он ещё ни разу не ошибся.

Я повернулся к Василию Васильевичу:

– Как Вы это чувствуете?

Одевая рукавицу, он только слегка повёл плечом:

– С двенадцати лет, с войны, их грузу – вот и чувствую...

...Из Далматовского района в 1944 году призвали в армию Николая Серафимовича Полухина и направили в Дальневосточный округ. Вначале их часть стояла около Раздольного, в тридцати километрах от Владивостока, в ожидании приказа о дальнейших действиях. Никаких жилых строений для солдат не было, землянки строили сами. Затем выдвинулись к Гродеково, и уже там находились до начала войны с милитаристской Японией. Как только вечером объявили о войне, часть, в которой служил Николай Серафимович, перешла границу с Китаем. После освобождения Китая их часть до мая 1946 года по-прежнему находилась в этой стране до особого распоряжения командования. Лишь в конце мая они начали возвращение в СССР – в Краскино Хасанского района. Здесь Николай Серафимович и служил до 1950 года.

По возвращении к гражданской жизни устроился вначале на Уральский алюминиевый завод, принимал участие в прокладке троллейбусной линии

между посёлком Чкалова и УАЗом. А после пуска линии перешёл на Каменск-Уральский металлургический завод.

Ещё в 1952 году в гостях у друга познакомился с выпускницей Шадринского педагогического института девушкой Галей, уроженкой Макушинского района. Вскоре они поженились. Галину Васильевну, как молодого специалиста, направили работать в школу № 7 вначале библиотекарем, а в 1957 году – учителем младших классов. В сентябре она стала Первой Учительницей нашего 1-го «б» класса. Проработала Галина Васильевна в одной школе более сорока лет...

После Победы город торопливо навёрстывал отставание от своего генерального плана.

Появились и стадионы, и водные станции, Дворцы культуры и красивые дома с фонтанами во дворах.

Огромный фонтан построили в центре площади Горького в соцгороде Уральского алюминиевого завода – завода, вошедшего в энциклопедию «Великая Отечественная война. 1941–1945». Вот цитата из энциклопедии: «...В авг. 1941 остался единственным пр-тием, выпускавшим алюминий для нужд оборонной пром-сти».

Недалеко от троллейбусной остановки, у проходной нашего Каменск-Уральского металлургического завода, который многие по старинке продолжали называть «Почтовый ящик четыре», тоже появился большой красивый фонтан.

И в нашем дворе по улице Западной построили фонтан – пусть небольшой, но скамейки около него редко пустовали.

Пётр Майоров, потерявший ногу на войне, любовался фонтаном и плескавшейся в нём малышняй со скамейки у своего подъезда: метры, пробегаемые детскими ногами, гораздо короче тех, что нужно пройти ему на костылях...

Почти всё, что намечалось Генпланом 1934 года, в городе построили, а сейчас и далеко превзошли.

Стали металлургами, как и их отцы, Валентин Алексеевич Глинкин, Николай Александрович Шатов, Сергей Алексеевич Соболев, Михаил Алексеевич Шипилов и Валерий Иванович Пермьяков. Из трёх сыновей Павла Васильевича Душкина металлургом работал Валентин Павлович, а Валерий Павлович и Вячеслав Павлович стали специалистами по монтажу промышленных предприятий.

Старые города выросли вширь и ввысь, появились новые.

Но не вернуться миллионы тех, кто защищал будущее наших родных мест.

У многих из нас Время забрало вернувшихся с Войны родных и близких.

Наша память отчасти похожа на зеркало: в ней полно и ёмко отражается увиденное и пережитое недавно. Но чем дальше мы удаляемся от конкретного события, тем больше деталей этого события отходит вначале на второй, потом на какой-то дальний план, и вот они совсем теряются. Скоро от самого события остаются только небольшие фрагменты, словно наше зеркало вначале незаметно тускнело, а однажды нечаянно разбилось, но в его осколках ещё многое можно увидеть, различить...

Мне казалось, что я никогда ничего не забуду из пережитого в послевоенные годы детства.

Оказалось – очень, очень многое забыл.

Чем старше становишься, тем больше появляется вопросов, ответить на которые могли бы лишь наши отцы...

И сегодня, искренне желая всем сердцем поклониться поколению людей отстоявших нашу страну в той страшной битве и в трудовом тылу, мы, к своему стыду и огромному сожалению, можем принести только эти осколки, оставшиеся в памяти...

Да простят они нам запоздалый наш поклон!..

[1] – «Если б не было войны» – цитата из стихотворения Игоря Шаферана, название одноимённой песни (музыка Марка Минкова)

[2] – из статьи Гавриловой Светланы Игоревны, аспиранта Уральской государственной архитектурно-художественной академии, «Развитие градостроительной структуры г. Каменска-Уральского начала XVIII – середины XX веков». Там же см.

– соцгород – один из типов расселения в городах нового типа, был основан на принципах воспитания «человека новой формации»: труженника-коллективиста с активной жизненной позицией и широким кругом интересов»;

– УАЗ – Уральский алюминиевый завод.

[3] – Из книги «Каменск-Уральский металлургический завод 60», автор-составитель Котлов А.Н., творческая группа: Пасынков Б.И., Баранчиков В.М., Шишменцев В.П., 298 стр., тираж 1000 экз., ООО «Компания «Лазурь», 2004 г.

*11.01.1039 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «О разделении Наркомата Оборонной промышленности СССР из Первого (самолётного) управления Наркомата Оборонной промышленности СССР был образован Народный комиссариат авиационной промышленности СССР (НКАП) – государственный орган СССР в ранге министерства, управлявший развитием авиационной промышленности СССР в 1939-1946 годах.

** Московский электромеханический ремонтный завод – основан в 1934 г.

Осуществляет ремонт тяговых двигателей и вспомогательных машин.

*** В 1932 г. в районе деревни Ступино началось строительство крупного электровозного завода (в 1936 г. перепрофилирован в металлургический комбинат). В 1934 году из деревень Ступино, Кремичанка и посёлка Электровозостроя создан рабочий посёлок Электровоз, который при преобразовании в 1938 г. получил название Ступино и статус города. С 1944 г. – центр Ступинского района.

...ТАК НАЧАЛАСЬ ВОЙНА

21 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Сегодня в ночь обрушится война
На старый Брест, на Холмские ворота.
На смертный бой поднимется страна
И первой в бой опять пойдёт пехота.

Бессчётных пушек рывкнет хриплый бас,
Взрочуют танки, взмоют самолеты.
Рванутся корабли, меняя галс,
Во все моря на жуткую охоту.

Эфир взорвется криком позывных
И воздух раскалится от снарядов,
И будет смерть подряд косить живых,
И станет каждый миг страшнее ада.

Четыре года! – битвы тяжкий ад:
Без продыха, жестокий и кровавый.
Но до сих пор везде огни горят –
Огни бессмертных подвигов и славы.

Но до сих пор пропавших свято ждут,
Во здравие в церквях им ставят свечи.
Об убиенных слёзы так же жгут
Глаза и сердце – если плакать нечем.

Всё так же память на войну ведёт,
И беспощадней добивают раны.
И всё внутри невольно вдруг замрёт,
Когда июнь и день – с тем утром ранним...

Сегодня в ночь обрушится война.
Ну, а пока и лист не колыхнётся.
Последний час над миром тишина
И живы все, кто с битвы не вернётся!

ЛЕНИНГРАДУ

Сорок первый двадцатого века.
В Ленинграде – июньская ночь.
В белый сумрак распахнуты веки
Статуй Летнего сада. Точь-в-точь

Также смотрят скульптуры безглазо
На Варшаву, Париж и Берлин.
Сколько войн они видели разных!
Но такую – лишь ты один,

Ленинград – наша гордость и слава,
Ленинград – наша вечная боль,
Из Героев Герой по праву,
Поклониться сегодня позволь

До земли, что пропитана кровью,
Защитавших тебя бойцов:
Встанут снова с Блокадою вровень
Юность, раны наших отцов.

Встанут с первой суровой зимою
Тени страшные: голод, цинга.
И обрушатся с жутким воем
Сотни бомб с самолётов врага...

И с трудом, по сугробам, с винтовкой,
Встанут роты на встречный бой

Из промёрзших до звона окопов,
Город свой заслоняя собой...

Ленинград! Извини, что тревожу:
Поздно, ночь, может, спишь уже.
С каждым годом ты всё дороже
И роднее ещё душе!

Но туда, в сорок первый далёкий,
Всем, кто жили и жив сейчас,
Может, ты передашь мои строки
В предрассветный июньский час?..

22 ИЮНЯ

1

В рассвете с вчерашних танцев
Спешил паренёк домой,
Мечтал в выходной отоспаться –
Счастливый и молодой.

Мечтал о новом свиданьи,
О нежных, желанных губах,
Целованных только в тайных
Самых смелых мечтах.

Он шёл со вчерашних танцев
Сквозь хрупкую тишину...
Под Брестом фашистские танки
Уже ворвались в страну.

Уже грохотали взрывы,
Горели деревни; шёл бой.
А танки рвались торопливо,
Сжигая из баков газойль.

Дым чёрный вздымался густо.
У танков – железная прыть.
В сожжённой деревне грустно
«Журавль» над колодцем скрипит.

А ветер то гонит пепел,

То брякнет пустым ведром.
Вчера здесь смеялись дети
И каждый спешил в свой дом...

2

Сколько по русским равнинам
Сожжённых, разрушенных мест!
Сколько родных и любимых
В могилах безвременных здесь!

В полях отгремевших сражений
Следов почти не найти.
...Где-то в сожженной деревне
«Журавль» сиротливо скрипит.
Где наш паренёк, что с танцев
Спешил поутру домой?
Лежит он в могиле братской?
А может поныне живой?

И в мирном июньском рассвете
Страшного эха набат
К той, самой любимой на свете,
Зовёт в сорок первый назад?..

3

Двадцать второе. Вечер.
Давно отгремела война...
Сердцу заплакать нечем:
Выжжено горем до дна.

Только лишь боль сухая,
Горькая, горькая боль,
Из памяти не стираясь,
Въелась крепче, чем соль.

С рождения боль, навеки.
Ударит нежданно под дых.
А ветер гоняет пепел
На месте сражений былых...

Вечер 22 июня 2010 года

СОЛДАТСКИЙ МЕДАЛЬОН

...Приказом Народного Комиссара Обороны Союза ССР №138 от 15.03.41 г. были введены медальоны в виде текстолитового пенала с вкладышем из бумаги...

Я зарядил последних шесть патронов.
Боезапас уже не подвезут.
Сползает солнце вниз по небосклону.
Упорно фрицы к нам опять ползут.

Нас только двое и одна граната,
И у Серёги меньше на патрон.
Весь взвод полёг, но продержаться надо
Пока свой фланг подтянет батальон.

Нам на двоих и сорока нет полных:
Такой уж выпал сорок первый год.
К земле прижавшись гимнастёркой потной,
От глаз, со лба стирая грязный пот,

Серёга улыбнулся вдруг: «А знаешь,
Не зря мы здесь и в крови, и в пыли
Лежим сейчас. Однажды, в мирном мае,
Придут сюда и спросят: – Как могли

Полдня держаться два почти мальчишки,
Когда весь взвод в бою уже полёг?

А я тебе шепну: «Васяня, слышишь? –
И жаворонок в небе запоёт...»

... На месте том нашли два медальона.
В одном – записка, скрученная в жгут:
«Я зарядил последних шесть патронов.
Боезапас уже не подвезут...»

ОСКОЛОК В ПАМЯТИ

Посвящается
памяти наших отцов

** ** **

Война...

Если бы кто-то спросил, когда она впервые коснулась сознания моих сверстников, то, наверное, никто не смог бы вспомнить.

Нас, родившихся через четыре года после Победы, всё оставленное Войной, окружало с первых минут жизни.

Ко мне это относится буквально.

Роддом, в котором я появился на свет, располагался в бараке постройки 1941 года, ровеснике нашего рабочего посёлка. У эвакуированного из-под Москвы в Каменск-Уральский Ступинского металлургического завода строить другое жильё тогда не было возможности. И называться завод стал по-другому: «Почтовый ящик № 4».

Вернее, в посёлке, кроме барачных, было ещё немного частных домиков с довоенной поры, но эвакуированные и прибывающие из госпиталей фронтовики получали направление во «временное жилое строение», как

именовались в официальных документах бараки, спешно строившиеся один за другим.

То ли по недогляду кого-то из медсестёр, то ли по какой другой причине, но несколько детей, в том числе и я, простыли и заболели воспалением лёгких. Потребовалось переливание крови. Папина кровь подошла по группе, и мне переливали её. Сколько раз – не знаю, но когда я уже подросток, папа говорил порой: «Смотри, не подводи! В тебе литр блокадной крови!»

Самые ранние разрозненные отрывки из детской памяти, наверное, от первой поездки с папой и мамой на родину отца – на Рязанщину.

...Мне почти четыре года.

Поздний летний вечер в деревенском доме.

При полупригашенном свете керосиновой лампы, на кухне, около огромной печи, какой я ещё не видел, за столом сидят папа и один из его старших братьев – Михаил: в войну капитан, артиллерист, а сейчас – учитель математики сельской школы.

Расположившись рядом на лавке, сквозь дрему, я слышу голос дяди Миши:

«... Помню, что бой был тяжёлый: они били из своих орудий по нам, мы – по ним. На батарее – грохот от стрельбы, взрывы впереди и где-то сзади. Вдруг один такой оглушительный, будто в меня самого попало...

А больше ничего не помню. Очнулся уже в плену. Два раза бежал из концлагеря. В последний – удачно. Дней пять мы с другом лежали в болоте, ждали наших.

Довоевать дали, награды есть, а дальше деревни жить нельзя... Как вспомнишь!.. Российская империя!..»

«Российская империя!..» срывалось у него сразу же, как только начинал волноваться. Я не знал, что такое «Российская империя», но перебивать старших не решался.

Другой вечер, что всегда помню.

Бабушка Дарья, здесь же, на кухне, процеживает парное молоко и рассказывает маме:

«...Как немец к Москве подошёл, Ванюшу, зятя, на фронт забрали, а Наташенька, доченька, на девятом месяце, к нам в деревню подалась. Добраться-то от Москвы добралась, да простудилась.

Родила Володеньку, внука, тут и скончалась. Думали: «Что отцу на фронт напишем?» А писать-то уже некому было – убили Ванечку в эту же зиму, под Москвой. А Володенька рос сначала у меня, а потом у другой моей дочки. Её, как тебя, Анютой звать. В Москве сейчас живут...»

Ещё одно из ярких воспоминаний.

Мне около пяти лет. Мы с ребятами играем, спрятавшись в тень от нашего нового двухэтажного дома по улице Западной, 5.

Среди слепящего летнего дня, задыхающегося от густого аромата цветущих во дворе клумб, листьев клёнов и тополей, буйной травы, растущей сразу же за краем тротуара, на скамейке у подъезда сидит отец Вальки Майорова дядя Петя в своём латаном-перелатаном старом армейском кителе и с неизменными костылями. На землю он опирается одной ногой, а вместо второй – пустая штанина, подвёрнутая за поясной ремень.

Фронтовик курит «козью ножку» и, улыбаясь, подставляет лицо солнечному теплу. Сегодня ему принесли пенсию.

Через некоторое время рядом появляется его жена и громко, на весь двор, зовёт своих детей: «Люська! Валька! Галька! Идите есть картошку жареную – и, оглядев окружающих её соседей, победно завершает – с мясом!»

У Мещеряковых и Конычевых, наших соседей по коммунальной квартире, отцы погибли. У одного осталось трое, у другого четверо детей, и жёны в одиночку растят их. У Володи Румянцева, моего одноклассника, из квартиры над нами, погиб дядя – Иван Иванович Баток.

В каждой семье не стало кого-то из родных.

Воевали отцы, но всё пережитое ими с рождения окружало нас.

Оно впитывалось нами из разговоров родных между собой; из их разговоров с друзьями, тоже прошедшими фронты, госпитали и военный тыл с его трудовым фронтом. Впитывалось из случайно оброненных фронтовиками фраз, из всего видимого вокруг в тесном мире коммунального жилья и за его стенами, и, казалось, из самого воздуха, которым мы все тогда дышали...

Отцы вспоминали о войне, а мы слушали...

Слушали ещё дошколятами, сидя на папиных коленях, слушали в школьные годы и уже повзрослевшими, во время редких приездов в родительский дом...

И не один раз, и не от одного фронтовика слышали слова: «Это же книгу надо писать, чтобы все знали...»

Но из тех, кого я знал, ни один не написал такую книгу. Не то, что писать, они и говорить долго о Войне не могли...

А тех, кто вернулся, сегодня догнали раны и безжалостное Время.

С ними ушла их память о Войне. Но часть своей памяти они оставили нам.

У меня уже седая голова, а я всё не могу решить: имею ли право говорить об **их Войне**? Дано ли мне оно по праву сыновнего долга?

Но жить с невысказанным грузом такой памяти очень тяжело. Наверное, это тоже каждый решает по-своему.

Я решил попытаться пересказать эпизоды воспоминаний отца о войне.

...Ты спрашиваешь, сын, как я оказался в войну в Ленинграде?

Тогда, наверное, начинать нужно с самого начала, с моего рождения: уж очень, как мне кажется, одно за другое цепляется. Даже о самом рождении моём мама, твоя бабушка Дарья, без улыбки вспоминать не могла.

По её словам, они с отцом в то время пристрой из самана к дому делали: копали глину на реке, накладывали на телегу, привозили во двор, сгружали и опять на Молву, речку нашу. Сколько телег привезли, мама не помнила, но вдруг почувствовала: всё, начинается – не первенца рожала, я уже двенадцатым был.

Вот она и говорит папе:

– Митя, не могу больше, рожаю.

А папа в ответ:

– Даша, подожди немного. Давай ещё один возок нагрузим...

Так я и родился около речки.

В то время в нашей Мурзинке было 75 дворов. Она считалась не самой маленькой из ближних деревень: в Луканетках насчитывалось 40, в Харламовке 50, и только во Владимировке было около 300 дворов.

Трудно жили, что там говорить. Вроде и работали и старшие и младшие, а каждый раз думали: как зиму перезимовать, чтобы запаса хватило?

Помню, когда коллективизация была, на ночь в каждый дом определяли одного уполномоченного, чтобы доглядывал за хозяевами. И в наш дом определили.

Сидят папа с мамой, разговаривают тихо: что же делать? Если хлеб отдать – хоть по миру иди, чем детей кормить?

А уполномоченный с лавки:

– Вы, хозяева, делайте, что вам нужно. Считайте, что меня нет.

Родители опять думают-гадают, как быть: если послушать уполномоченного – вдруг завтра сам же их и сдаст в тюрьму? Не послушаться – тоже не лучше...

Решили спрятать на свой страх и риск.

В хлеву, прямо под лошадьми, вырыли яму и туда положили шесть мешков зерна, остальное сдали.

Утром пришли, уполномоченного спросили как дела. Он ни слова о спрятанном зерне не сказал. Поискали немного, ничего не нашли, забрали выставленные мешки и уехали.

Вот так и спаслись.

Мама потом, уже вечером, говорит:

– Мить! А мы даже имени-то уполномоченного не знаем: за кого Бога молить?..

Потом был тридцать третий с голодом, а следом тиф брата Ваню унёс: тому только девятнадцать исполнилось.

Почему-то ещё одна история запомнилась. Это уже в колхозное время.

Жил у нас на другой улице Митька с уличным прозвищем «Колчак». Работал трактористом – важная на деревне специальность, в трактористах всегда нужда. А местный врач у него вдруг обнаружил туберкулёз и дал направление в больницу в Рязань. А тогда ещё МТС¹ были объединённые. Вызвали врача в райком и выговорили ему:

– Уборочная в разгаре, а ты тракториста – в больницу. Вот кончится уборочная, тогда и отправляй!

Врач вернулся, вызвал к себе Митьку, забрал у него направление в больницу и выписал таблетки.

Через несколько месяцев Митька умер.

После смерти Митьки его мама при встречах с односельчанами говорила:

– Врач-то наш поначалу отделаться хотел от Митеньки, в Рязань отправлял. Потом смилостивился, таблетки выписал, лечить начал, да Божья воля вмешалась! А за врача я молюсь, и молиться буду!..

После тридцать четвёртого дела в нашем колхозе стали заметно хуже: всё меньше стали получать колхозники за трудодни, хотя работали по-настоящему, никому и в голову не приходило улынивать, прятаться за спину другого.

«Первую заповедь колхозника», план обязательных поставок государству – а это от четверти до трети урожая, как район прикажет – нужно было выполнять. Да ещё и МТС за обработку полей колхоз плати...

Нашей семье было немного полегче, чем другим: всё-таки старшие дети жили и работали в Москве, а самый старший, Вася, – в Ленинграде. Помогали, как могли. Родители овец несколько штук держали, птицу. Самая это морока гусей и уток пасти: чуть заигрался, а они по реке уже километра за два уплыли – беги берегом, догоняй...

Семилетки в нашей Мурзинке не было. Вот и отвозили на постой за километром семь с лишним в другую деревню – в Кумино. Время от времени папа привозил продукты: для нас и хозяевам в оплату за угол.

Учился я с удовольствием. Когда уже заканчивал, папа говорит:

– Давай, сынок, просись учиться дальше, в городе. Там не пропадёшь и к братьям поближе.

Дали мне в сельсовете справку на получение паспорта, направление на учёбу и поехал я в Москву: тогда наш район в Московскую область входил.

Поступил в школу фабрично-заводского ученичества² при Московском электромеханическом ремонтном заводе. На этом заводе делали двигатели для электровозов.

Дисциплина в школе была строгая, учили по-настоящему, тройка не считалась за оценку. Преподаватели говорили:

– Двигатель, собранный плохим специалистом – это гарантия рекламации на продукцию. А рекламация – это брак в работе.

Никаких опозданий на занятия или в общежитие вечером без уважительной причины не признавалось; за грубые нарушения дисциплины наказывали вплоть до отчисления.

Но и опекали своих выпускников даже после окончания школы.

Мастера, обучавшие нас два года, приходили на завод, интересовались как дела у каждого, чем помочь могут. Ты, может, не поверишь, но у

бригадиров спрашивали как про детей малых: ходим ли в обед в столовую, не перебиваемся ли всухомятку? Приходили и в заводское общежитие, смотрели: в каких комнатах живём, кто соседи; узнавали у коменданта: нет ли на нас жалоб, радовались хорошим отзывам о нас.

Как оказалось и заводские специалисты за нами внимательно наблюдали.

Однажды, во время перекура, подходит ко мне начальник участка Баладжан и просит закурить. Я даю ему папиросу, а он, раскуривая её, так спокойно, как всегда на «Вы», говорит:

– Товарищ Покидышев. Замечаний по работе у меня к Вам нет. Но вот я уже не первый раз нарочно спрашиваю у Вас закурить, и что же вижу? Курите Вы дорогую марку «Пушка». Я получаю больше Вас, но не могу себе позволить такие папиросы. Смотрю, опять пакетик с пирожками с собой, а столовая рядом. Не дело это!..

Запомнил я тот урок отношения к подчинённым.

...Уже после войны, когда заехал я на завод, встретил меня Баладжан как родного сына, звал в свой цех, спросил, где и кем работаю.

– Да, – сказал, – с оборонного предприятия так просто не отпускают...

Я любил свой завод и свои электродвигатели: ведь мы их собирали для первых электровозов в стране.

Я жил в столице. В спортивной форме два Первоя маршировал по Красной площади мимо трибуны Мавзолея, на которой стоял Сталин.

Накануне праздника нам выдавали по погоде белые майки или свитера, белые брюки и парусиновые теннисные туфли. Для ослепительной белизны туфли ещё с вечера мы начищали увлажнённым зубным порошком и оставляли сушиться...

В мае тридцать девятого меня призвали на срочную службу и направили в полковую школу Второго полка связи Ленинградского Военного Округа³.

Я сразу влюбился в этот город: в первом же увольнении, когда поехал в гости к старшему брату Василию.

Я ходил по ленинградским улицам, пока ноги не начинали гудеть. Вместе с другими курсантами назначал свидания своей девушке у знаменитых Пяти углов; смотрел и не мог насмотреться на белые ночи...

А сколько километров отмаршировали мы по Дворцовой площади, пока готовились к праздничным парадам!.. Отмаршировали не в сапогах, их ещё не выдавали, а в ботинках с обмотками, которые разматывались на ходу именно во время прохождения мимо начальника школы...

С какими ребятами пришлось вместе служить и учиться! Где они сейчас, мои тёзки: Саша Блинов, Саша Серебренников и Шура Бруква?..

Бруква – это его прозвище, потому что он никогда не мог чисто произнести слово «брюква» из-за своего белорусского выговора. А настоящую его фамилию я называть не буду.

Когда через несколько месяцев после начала учёбы мы стали пооткровеннее в своих рассказах о гражданской жизни, Шура огорошил всех.

По его словам, однажды летом, находясь в гостях на даче у своего дяди, они с двоюродным братом через небольшой пролом в заборе пробрались на соседний участок. Понимая, что так делать нельзя, из мальчишеского любопытства, осторожно, от куста к кусту, прокрались на несколько метров от забора.

Строения на участке были такие же, как и у них, но винный погреб оказался открытым. Рядом никого не было видно и мальчишки – им тогда было по двенадцать-тринадцать лет – вошли в погреб. Конечно, опять-таки из любопытства, отведали вино из высокой стеклянной бутылки, стоявшей на деревянном столе посреди погреба.

– Вроде бы и выпили всего по большому стакану, и вино было похожее на сладковатый густой сок, – рассказывал Шура, – а когда хотели встать из-за стола, то не смогли: ноги стали какими-то ватными.

В это время в погреб вошёл какой-то мужчина, наверное, за вином или проверить погреб перед тем, как его закрыть, и увидел непрошенных гостей. Он спросил, откуда они, а услышав, что с соседней дачи, рассмеялся:

– Так ведь у вас такой же погреб, как у Климента Ефремовича. Зачем сюда-то пришли?

– Интересно стало, – оправдывались неудачливые дегустаторы.

Видя, что им самим трудно будет дойти назад, мужчина вышел из погреба, кликнул кого-то, а потом вернулся уже с молодым красногвардейцем.

Вот в его сопровождении ребята, через запасную калитку в заборе, и вернулись на свою дачу.

Прощаясь, красногвардеец, не выдержал, заулыбался:

– Ну, посмеётся товарищ Ворошилов, когда узнает, какие гости у него в погребе побывали.

Слушавшие Шуру курсанты ахнули:

– Как ты сказал? Ворошилов? Ну, ты придумал! Да кто же тебя туда пустит?

– Как кто? Как кто? – разгорячился Шура. – У дяди и у Ворошилова конюшни рядом. Вот за ними мы и прошли.

– А кто же тогда у тебя дядя? – спросили мы.

Шура притих, потом серьёзно сказал:

– Тимошенко Семён Константинович⁴.

– Нарком обороны? – ахнули все. – Ври, да меру знай. Если у тебя дядя нарком, что же мы газету карандашами рисуем? Попроси у него краски и настоящий ватман.

– Хорошо, – также серьёзно ответил Шура.

Сказать сказал, но поверить было трудно: слишком необычным казалось такое соседство в казарме – с племянником самого Тимошенко!

Но примерно через месяц Шуру вызвали в штаб полковой школы, и оттуда он вернулся с большим пакетом из плотной тёмно-жёлтой бумаги.

Вдоль верхнего края пакета чёрным крупным шрифтом было напечатано: «ПРИЕМНАЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СССР».

В июне сорок первого, после окончания школы Шуру направили на фронт. Больше о нём я ни разу ничего не слышал... Но это – забегаю вперёд.

А тем временем служба и учёба шли для каждого по-своему. Кому-то и то, и другое давалось без особых усилий; кому-то учиться было легче, чем заниматься строевой и физической подготовкой: что такое марш-бросок на лыжах для бойца, который на них ни разу в жизни не вставал? Я-то с наших крутых берегов скатываться научился, чуть на другой, пологий, берег не выносило. А каково, если впервые лыжи одел, да ещё с горы вниз съехать надо? Причём дорога вниз идёт не по открытому месту, а петляет между деревьями.

Привезли нас на занятия как-то на границу с Финляндией. Местные мальчишки как вьюны с самой высоты откуда-то из-за деревьев выныривают, с криками несутся вниз. Кажется, что деревья им сами дорогу уступают.

Вот на глазах у смеющихся над нами мальчишек мы и одолевали премудрости спуска на лыжах с крутых склонов...

Было и ещё одно непредвиденное обстоятельство. Часть новобранцев на гражданке зачастую не ела досыта. А тут от регулярного качественного трёхразового питания и нормального режима отдыха они стали заметно набирать вес. Причём некоторые до того поправились, что уже и одного раза на турнике подтянуться не могли. А в армии установленные нормативы выполнять нужно. Стали отказываться от добавок – с нормами справились. Как мы те добавки потом, уже в блокадные дни, вспоминали!..

Во время Финской войны нас только два раза привозили на станцию помогать перегружать раненых. В основном, как мне запомнилось, это были обмороженные солдаты. Откуда-то, откуда – не знаю: ведь нам не разрешали разговаривать с ранеными, пошёл слух, что обморозились они при взятии линии Маннергейма⁵. Якобы, одно из укреплений было сделано в

виде канала. И когда наши бойцы ворвались на это пространство, белофинны открыли шлюз и затопили водой канал... Но о той войне из нас никто ничего толком не знал.

2

...В июне 1941 года я уже оканчивал двухгодичную полковую школу связи, когда объявили о начале войны. Почти всех курсантов сразу же отправили на фронт. Нас, нескольких выпускников, прошедших полный курс, оставили в школе инструкторами – обучать новобранцев.

С первых же дней войны стало ясно: радистов для фронта понадобится много!

Телефонные провода не укроешь от снарядов. Пока доползёт телефонист к месту одного обрыва, снаряд может повредить линию в другом. Сколько их уползло и не вернулось: кого пуля, кого осколок догнал... А без связи не повоюешь.

Уже в июле нарком обороны издал приказ⁶: у каждого командира должна быть переносная рация.

Наш полк стоял на окраине Ленинграда, и мы надеялись, что пополнение придёт из ленинградцев.

С командиром роты капитаном Рикедой и моим командиром взвода лейтенантом Павлом Васильевым мы проверили наши радиоклассы, исправность передатчиков и приёмников, казарму. Капитан доложил комполка о готовности.

Пополнение поступило. Но какое!.. Ограничено годные были подарком. Как в Ленинград так быстро попали новобранцы с Западной Украины и из Средней Азии – не знаю. А они почти не знали русского языка – языка, на котором их нужно было учить.

Проверяешь слух курсанта – ведь вся радиосвязь на нём держится – как слышит, как отличает точки и тире морзянки. Вроде отличает хорошо, улавливает разницу между знаками, правда, пока не зная какую букву принял. А как только начинаешь говорить с ним – тупик. С теми, кто без

слуха проще: перевели в телетайписты или телеграфисты и пусть учатся. Но ведь и там язык знать надо. А приказ один – учить этих, других нет. И учить по ускоренной программе: три месяца – и готов.

Обстановка в школе тоже изменилась: мы стали боевым подразделением, несли дежурства в части и патрульную службу в городе.

Блокада началась 8 сентября, запасы в городе резко сокращались, подвозимых продуктов не хватало.

Первым исчез в полковой столовой белый хлеб, свободно лежавший на металлических тарелках. Потом исчез чёрный. Сам паёк почти с каждым днём становился всё меньше, а выдаваемый хлеб – сырой, тяжёлый, действительно не по сорту, а по своему виду чёрный – не насыщал, а ложился в желудке камнем. Чувство голода стало одним из постоянных ощущений.

Когда остановилась ТЭЦ, пришлось самим заготавливать в лесу дрова для отопления – похолодало как-то резко, сразу.

По-моему, к октябрю, в полковую столовую уже не ходили. Дежурные приносили оттуда котёл с полужидкой кашей и, пока курсанты были на занятиях, поднимали его на второй этаж, в столовую роты.

Но если недоедаешь так много дней подряд, да ещё рубишь дрова на морозе, а потом, чуть живой и мокрый от слабости, возвращаешься в полухолодную казарму, разве наешься миской каши?..

Всё чаще утром, при подъёме, кто-то от истощения не мог подняться с кровати: ведь, всё-таки, до войны этим людям не зря военно-врачебная комиссия ставила штамп «ограничено годен». Они не были подготовлены даже просто к военной службе, а на них свалилось такое тяжёлое, подчас непосильное, испытание!..

Однажды, с какой-то неожиданной оказией, в школу привезли мясо. Назначили наряд на кухню разделывать его, каждый грамм был взят на учёт, но один небольшой кусок пропал. Как и когда – никто не заметил. Обыскали всю столовую – не нашли. Не хотелось верить, но был только один

очевидный ответ – мясо взял кто-то из наряда. Взял для себя, у таких же истощённых товарищей. Кто-то стал **вором**.

Это очень тяжело для голодного: смотреть на большое количество еды в твоих руках и удержаться, не съесть хотя бы маленький кусочек. Не только вид, а даже просто запах еды вызывал болезненные спазмы в животе. Поэтому, когда мы шли патрулём по городу, всегда, по возможности, старались обходить Адмиралтейство: откуда всегда вкусно пахло нормальной пищей...

Капитан Рикета построил роту перед казармой и скомандовал:

– Наряд! Два шага вперёд! Круу-гом!

Потом встал между нарядом и остальными курсантами, помолчал.

– Товарищи бойцы, – негромко произнёс он. – Через час пятеро из вас пойдут в Ленинград нести боевую патрульную службу. Одна из ваших задач – борьба с мародёрами до расстрела на месте. С теми, кто, потеряв человеческий облик, грабит голодных и больных.

Сегодня впервые, подписывая наряд на патрулирование, я буду думать: вдруг один из уходящих и есть тот, кто ограбил своих товарищей? Как поступит он в трудную минуту? Не обратит ли своё оружие против вас? Своим поступком он уже перешёл на сторону врага, пытающегося сломить нас голодом.

У него есть час для решения: признаться и искупить вину по закону военного времени, как положено бойцу Красной Армии, или навсегда остаться врагом!

А теперь – разойдись!

Конечно, всем хотелось поскорее уйти с пронизывающего холодного ветра, укрыться от его порывов в казарме, но не успели мы ещё выполнить команду, как где-то сзади нас раздался громкий глухой хлопок и все поняли, что случилось: плотно уперев ствол карабина себе под подбородок, нажал на спусковой крючок курсант, укравший мясо...

Вскоре этот курс, обучавшийся по ускоренной программе, отправили на фронт. Пришли учиться другие и тоже ушли...

Когда лёд на Ладоге набрал нужную толщину и заработала «Дорога жизни», стало немного легче: вместе с неизменной пшённой кашей появились и другие продукты.

Да... А мясо нашлось – выдало себя запахом, когда, засунутое в небольшой закуток за печкой, стало портиться от тепла.

Никто не хотел прикасаться к нему. Просто смели, выкинули и забыли. Как забыли того, кто украл злополучный кусок.

Как его звали, каким он был, где похоронили – никто не запомнил. Никто не запомнил, никто не винил: не каждый мог вынести такую долю. Но каждый сам намечал для себя черту, до которой сегодня нужно дойти и не сломаться. А завтра...

А до завтра, сынок, ещё дожить нужно было...»

3

...Я так откровенно, как всё было, рассказываю тебе о блокаде, а сам думаю: «А нужно ли? Очень непросто человеку, не прошедшему через испытания, которые выпали другим, понять их, не осудить за поступки, кажущиеся из сегодняшнего дня некрасивыми, предосудительными».

Но, наверное, чем честнее рассказываешь, тем достовернее твои слова, тем легче они находят отклик у собеседника.

Так вот, я хочу вернуться к новобранцам, что пришли в нашу школу в первые дни войны.

Многих из них в мирное время признали ограничено годными по здоровью. В армии они не служили, были людьми сугубо штатскими, но в военкоматы пришли сами.

Им было труднее всех. От войны и так не ждут ничего хорошего, но такие страшные испытания и лишения и представить себе никто не мог.

Им было труднее всех ещё и потому, что первая осень и начало зимы до открытия «Дороги жизни» были самыми тяжёлыми для каждого, кто

оставался в Ленинграде: таким внезапным оказался перелом от мирного уклада к невыносимым и душевным, и физическим мукам.

Все верили в непобедимость Красной Армии, никто не думал, что война может стать долгой и настолько кровопролитной. И все каждое утро, каждый час ждали сообщение, что наши войска отбросили силы противника, перешли в наступление и начали разгром врага.

Но такого сообщения не передавали. Говорилось о новых и новых потерях, об оставленных населённых пунктах, а на город, лавина за лавиной, налетали самолёты с крестами и сыпали, сыпали бомбы.

Навстречу им взлетали наши, краснозвёздные, но наших было так мало! Несколько фашистских машин набрасывались на одну краснозвёздную, и, несмотря на всё мастерство и упорство, на бесстрашие наших лётчиков, принимавших такой неравный бой, горели самолёт за самолётом.

Мы, с земли, напряжённо следили за ходом каждого воздушного боя, всем сердцем желая своим уцелеть, сбить хотя бы одного гада!.. А когда немецкие асы беспощадно, почти в упор, расстреливали из пулемётов прыгающих из горящих машин лётчиков, их только начинающие раскрываться парашюты, слёзы ненависти и горечи непрошено, сами появлялись на наших глазах.

После команды «Отбой воздушной тревоги», по возвращении в классы, очень трудно было снова сосредоточиться на учёбе: эпизоды воздушного боя стояли перед нами...

4

Уже больше двух месяцев прошло с начала блокады. Уменьшить ещё норму пайка означало бы не оставить ни одного шанса на выживание. А люди держались...

Не было еды, не было тепла.

Начальник медсанчасти полка, кадровый офицер, многое повидавший в финскую войну, заставлял каждого при нём выпивать мензурку хвойного

настоя от цинги – горького и противного. И если кто-то пытался обмануть, уйти, не проглотив самодельного лекарства, не церемонился в выражениях:

– Глотай, а то расстреляю как дезертира! Я заставлю тебя выжить. Вы мне, сопляки родные, живыми нужны. Это – мой воинский долг.

Боец глотал, а военврач, наливая порцию для следующего, говорил:

– Теперь тебе точно цинга нипочём! Но не зазнавайся – ты ещё на фронт должен здоровым отбыть.

Никто не обижался на его грубоватые шутки. Этот много повидавший офицер знал своё дело, но при необходимости действительно мог применить оружие, чему я сам оказался свидетелем.

...Среди курсантов военного набора оказался один, который начинал ссылаться на недомогание, как только нужно было поработать физически. Пару раз ему поверили. А тут нашему взводу выпал наряд на заготовку дров. И опять этот «больной» за своё:

– Так плохо себя чувствую, что еле на ногах стою.

Комвзвода Васильев не выдержал:

– На товарищей своих посмотрите: они тоже допаяк не получают и еле на ногах стоят, а молча собрались. Пойдёмте к врачу в медсанчасть. Если он признает Вас неспособным к физической работе, то останетесь в наряд по взводу.

Мы взяли пилы, топоры, несколько больших санок и, скорее маленьким караваном, чем строем, направились к медсанчасти.

У входа лейтенант скомандовал:

– Всем ждать. Больной – со мной.

Не прошло и пяти минут, как дверь распахнулась, и из неё, с перепуганным лицом, выскочил, в наполовину одетой гимнастёрке, с шинелью и шапкой в руках, «больной» курсант.

Следом, с трудом передвигаясь, пытался выйти военврач с крепко обхватившим сзади его руки лейтенантом Васильевым.

– На месте... как дезертира... по закону военного времени..., – выталкивая из себя каждое слово, кричал военврач, пытаюсь правой рукой достать пистолет. Но комвзвода по-прежнему с силой сжимал руки офицера.

– У него... у него боках... жир свисает... а он больной? – также, словно задыхаясь, выкрикивал военврач, а комвзвода всё старался его завести назад в медсанчасть.

Наконец ему это удалось, дверь захлопнулась.

Через некоторое время Васильев вышел, торопливо сбежал по ступенькам, осмотрел нас, продрогших без движения на холодном ветру, и вплотную подошёл к уже одевшемуся «больному»:

– Ещё хоть слово – сам пристрелю, даже если под трибунал отправят. Ясно?

Не сдержавшись, свой вопрос он выкрикнул прямо в лицо «больному».

Тот стоял, не в силах от страха ответить, лишь его нижняя челюсть мелко-мелко дрожала.

Лишь когда в лесу бойцы начали укладывать в санки заготовленные дрова, Васильев попросил:

– Саш, сверни покурить. До сих пор руки трясутся.

– Что случилось-то?

– Он ведь знаешь, что спросил у военврача? – жадно затягиваясь самокруткой, начал Павел. – Нельзя ли ему получить заключение о негодности к службе, нужные справки о болезни его родные принесут. А сам здоровее всех нас: стоит без гимнастёрки – весь розовый, упитанный. Хорошо, что врач сгоряча кобуру расстегнуть не успел. Я, как понял к чему дело идёт, обхватил его. Еле смог удержать: вроде худой, а жилистый...

Где-то недели через три с нами в патрульную группу назначили «больного».

Недалеко от центра города, он обратился к комвзвода:

– Товарищ лейтенант! Мои родители недалеко живут. Разрешите всем вместе зайти, согреться.

Вечер, действительно, был холодный и ветреный.

Другие тоже поддержали:

– Может, правда, погреемся, товарищ лейтенант?

Немного подумав, Васильев кивнул головой:

– Не больше пятнадцати минут.

Дом и в самом деле оказался неподалёку.

Дверь открыла мать «больного».

Увидев сына с сослуживцами, ахнула. Как и каждая мать, первым делом проводила нас к столу, побежала было на кухню. Лейтенант попробовал остановить её:

– Не беспокойтесь, мы только обогреться немного.

Но она и слушать его не стала:

– Что Вы, товарищ лейтенант! Какое беспокойство! Такая радость! – и ушла.

Мы наслаждались теплом.

От окон, закрытых для светомаскировки плотными тёмными шторами, совсем не дуло. И так приятно было видеть радость матери от встречи с сыном, словно каждый из нас вернулся в свой родной дом!

Но вот женщина вернулась и начала расставлять на столе тарелки с едой.

Мы не верили своим глазам: в блокадном Ленинграде, где по карточке выдают в день умещающийся на ладони кусок тёмной массы, называемой хлебом, перед нами поставили тарелки с настоящим хлебом, и сыром, нарезанными ровными тонкими кусочками!

В отдельных маленьких тарелочках лежали комочки сливочного масла, ещё с капельками влаги и следами чайной ложечки, которой, наверное, их отделяли от куска. Следом появились настоящий чай в стаканах с подстаканниками и сахарница с белоснежным сахарным песком.

Не отрывая глаз, мы смотрели на расставленные яства и не могли сказать ни слова.

Как нам хотелось съесть всё за один присест!

Но одновременно появилось ощущения соучастия в бесчестном поступке.

С побелевшим лицом комвзвода тихо приказал:

– Ни к чему, кроме чая не прикасаться!

И уже обращаясь к хозяйке, жёстко добавил:

– Уберите, пожалуйста, всё, кроме чая!

– Почему, почему, товарищ лейтенант? Пусть кушают, нам не жалко! – не поняла та.

– Эта еда убьёт их! Они давно отвыкли от неё, – стараясь быть вежливым гостем, пояснил Васильев, а у самого желваки по скулам заходили.

С обиженным видом хозяйка унесла масло и сыр, оставив на столе только хлеб, но к нему никто не мог прикоснуться.

Вернувшись, женщина встала за спиной у сидящего сына, положила руки ему на плечи и вновь заговорила:

– Товарищ лейтенант! Что нам нужно сделать, чтобы сына забрать из армии? Он у нас один.

Павел даже чаем поперхнулся:

– Вы что же думаете: если я у матери четвёртый, так меньше дорог ей?

И, не слушая ответа, поставил на стол стакан с недопитым чаем и скомандовал:

– Всем встать, одеться!

И вполоборота к хозяйке уронил:

– Нам пора.

Её сын вышел из квартиры последним. Карманы его шинели оставались такими же плоскими, как и до посещения дома, и всё равно никто не мог заговорить с ним.

Дней через десять его уже не было на утреннем построении. Вернувшись из штаба, Васильев жирной чертой зачеркнул фамилию этого

курсанта в списке взвода. Потом поднял на меня глаза и без всякой злости, с какой-то обречённой усталостью пояснил:

– Комиссовали. По состоянию здоровья...

5

Хотя военврач, как мог, заботился о нашем здоровье, но здоровыми были не мы, а те мародёры, которых встречали при патрулировании.

Сытые, с тугими, а не ввалившимися щеками, они легко таскали в ожидавшие их машины картины, мебель из чужих опустевших квартир. Увидев нас, сразу бросали выносимый скарб, запрыгивали в автомобиль и, смеясь, уезжали с тем, что уже было нагружено в кузов.

Вскинуть быстро тяжёлый карабин... Если бы мы могли это сделать, то мародёры не ушли бы от нас. Быстрыми наши движения не получались при всём желании задержать преступников.

Иногда становилось, казалось, совсем невыносимо.

Не раз, и не два приходила мысль: «Ещё один такой день я не переживу. Уж лучше на фронте от пули...»

И сразу же накатывала злость на себя: «Это что же? Сдаюсь?..»

Я шёл к баку с ледяной водой и пил её, чтобы, пусть хоть ненадолго, обмануть желудок, без конца требовавший еды.

Раньше я уже рассказывал тебе, что примерно с октября мы не ходили в полковую столовую, а еду оттуда дневальные приносили в столовую роты, пока курсанты были на занятиях.

Но как-то с доставкой опоздали. Уже прозвучала команда: «Перерыв», а дневальные ещё не дошли до лестничной площадки между первым и вторым этажами. Услышав команду, они заспешили, один из них оступился и упал, выпустив ручку котла.

Тяжёлый котёл опрокинулся, и горячая жижа полилась на упавшего, на ступеньки.

Как на притчу, к лестнице уже подходил взвод, закончивший занятия чуть раньше других.

Они видели и чувствовали запах пищи, которую так ждали, и которая на их глазах, на глазах тех, кто привык ценить каждую кроху еды, разливается по лестнице, а значит, пропадает, необратимо растрачивается зря, никого не насытив, никого не поддержав своей живительной силой.

Злая обида на растяпу дневального, обида за самих себя, взломала воинскую дисциплину, и вместе с неутоленным голодом толкнула нескольких курсантов, что стояли у ступенек, к опрокинутому котлу.

Обжигая ладони, они черпали кашу и жадно глотали её. Не в силах ещё раз зачерпнуть обожжёнными ладонями из котла, стали собирать её со ступенек. А сзади их толкали другие, которые тоже поняли, что сегодня останутся без еды, и хотели хотя бы немного получить её. Из окончательно перевернувшегося котла остатки вылились на ступеньки...

Командир взвода закричал: «Прекратить! Разойдись!» Но его не слушали. Тогда он, с сержантами, начал оттаскивать курсантов от каши. Те плакали – горько, как дети, у которых отбирают самое вкусное, самое желанное...

Подоспели сержанты других взводов, и скоро порядок был наведён. Обожжённого дневального и курсантов, обжегших ладони, отправили в медсанчасть. Вместо каши принесли и выдали сухой паёк, занятия продолжились. Но отпускать с занятий стали только после доклада дежурного о готовности столовой.

И ты, сынок, не думай плохо о тех, кто не сдержался, бросился к каше. Ребята они были что надо!

Через какое-то время, помню, сидим с Пашей Васильевым у него в кабинетике, составляем план занятий на неделю, а один из «любителей каши», коренной ленинградец, входит, мнётся.

Павел его спрашивает:

– Что случилось?

А курсант так несмело говорит:

– Товарищ лейтенант, разрешите обратиться. Ко мне родные приходили. Холодец из кошки принесли. Можно Вас с товарищем сержантом угостить?

Разворачивает небольшое полотенце, а в нём неполная литровая банка холодца – незамёрзшая до студня жидкость с тонкими, тоньше спички, бледными прожилками мяса.

У нас с Пашей аж горло перехватило: ведь сам на ногах еле держится! Пока шёл от пропускного пункта у ворот части мог бы один съесть. Родственники тоже, наверняка, голодают. Значит, обменяли свои рабочие или иждивенческие карточки, решили сына поддержать самым бесценным – едой.

Паша разволновался – желваки на скулах ходуном ходят. Встал, подошёл к курсанту, заглянул в глаза, спрашивает:

– Что сами-то не едите? Ваши родные о Вас позаботились.

Курсант опять с виноватым видом:

– Не могу я один, товарищ лейтенант. Нехорошо получится, как будто тайком.

Разлили мы тот холодец по кружкам, выпили. Привкус его мыльный до сих пор помню, а как курсанта звали – забыл.

Поблагодарили мы его тогда, конечно.

Но стыдно мне, что имя его забыл...

6

Весной сорок второго пришли приказы о переводе нескольких офицеров и сержантов школы в действующую армию, то есть на фронт. В их числе были и мы с Пашей Васильевым.

Перед отправкой все пережившие блокадную зиму вначале проходили обязательную военно-врачебную комиссию. Тех, кто прошёл ВВК, вначале ненадолго направляли в госпиталь, и только после этого – на фронт.

В мае я уже был на передовой. Доехать до неё из Ленинграда можно было на попутке.

Стояло затишье, изредка вспыхивали бои чисто местного характера: где-то мы немного продвигались вперёд, где-то, выравнивая линию обороны, немного отходили назад. Разведка боем и с их стороны и с нашей велась осторожно, без вовлечения значительных сил. Всё это чем-то походило на первый раунд у боксёров, когда оба пытаются прощупать друг у друга слабые места, с той разницей, что здесь обе стороны были вымотаны предыдущими боями. Но все понимали, что долго затишье продолжаться не может.

Как-то в конце июля командир роты приказал мне сходить в штаб батальона за поступившими документами.

Уже на выходе из штаба я услышал близкий взрыв.

Только выскочил за порог, как раздался характерный свист мины и чей-то крик:

– Ложись!!!

И почти одновременно раздался взрыв...

В первое мгновение, когда я пришёл в себя, левый глаз ничего не видел и горел от боли. Казалось, что голова раскололась на две части. Я попытался сжать обе половинки руками, но опять потерял сознание.

Во второй раз очнулся от того, что начал задыхаться. Рот был полон крови. Я попробовал приподняться и сесть. Правой рукой затронул шею там, где было горячо: вся рука покрылась кровью. Тогда я плотно прижал ладонь к ране. Ни говорить, ни кричать, конечно, не мог.

Пробежавшая мимо женщина-военврач, увидела меня.

– Здесь ещё один! Санитары, быстрее! – полуобернувшись назад, скомандовала она.

Подоспевшие санитары хотели уложить меня на носилки, но военврач остановила их:

– Этого перевозить только сидя!

Меня усадили к борту полной раненых полуторки. Со стороны передовой гремело и грохотало.

Военврач подбежала к водителю полуторки:

– Гони быстрее! Видишь, начинается!

...Уже в госпитале сосед по палате, с которым нас вместе привезли, рассказал, что в тот день даже команды о подготовке к бою не было:

– Пристрелялись гады, наверное. Сколько уже друг напротив друга стоим. А они ещё и на небольшой высотке. Ладно, медсанбат не задело: там как раз раненых к эвакуации готовили. Считай, что нам повезло!

Его ранило в грудь, и он надеялся на скорую поправку.

Осколок из шеи мне достали, а с глазом пока ничего не было ясно, только перевязки делали постоянно.

Однажды пришёл лечивший меня врач и предупредил:

– Для дальнейшего лечения будете направлены в тыл.

7

Документы на отправку подготовили быстро. На следующее утро нас погрузили в закрытые машины и повезли к Ладоге: другого пути на Большую землю не было.

Полог кузова был опущен, но один край оставили приоткрытым для свежего воздуха. Водитель хоть и торопился, но вёл машину так, что нас почти не трясло. А, может, мы просто не замечали этого.

Как-то вдруг стало ясно: с Ленинградом мы расстаёмся надолго.

Пока он вот ещё рядом, за бортом машины, но это последние наши минуты вместе. Вместе с городом, который нас встретил в невозвратимое мирное время, стал дорог сердцу, с которым вместе в июньское воскресенье слышали слово «Война».

Вместе с ним впервые увидели в небе над городом самолёты с крестами на плоскостях крыльев, но ещё не могли поверить до конца, что кто-то из сидящих в этих самолётах, привычным движением руки откроет бомболюки, и на улицы и дома нашего Ленинграда, с воем, рванётся сверху Смерть...

Вместе с этим городом мы пережили самую трудную первую блокадную зиму, когда не раз казалось, что даже и жить-то не осталось сил... Само собой вспоминалось виденное в ту зиму:

...Мы в патруле идём по Ленинграду по назначенному маршруту. Навстречу нам медленно, неуверенно движется человеческая фигура, обвязанная платком. И, не доходя метров двадцать до нас, начинает оседать на сугроб. Мы спешим к человеку, но у него уже нет сил встать. Из-под платка на нас смотрит истощённая пожилая женщина и почему-то пытается улыбнуться. Паша Васильев, начальник патруля в этот день, спрашивает:

– Бабушка, Вы далеко живёте?

И еле слышный шёпот-шелест в ответ:

– Бабушка... Мне, мальчики, двадцать лет...

Она скончалась у нас на руках, и мы не стыдились своих слёз.

Паша, с силой выдохнув, негромко сказал:

– Запомните эту девушку, бойцы! Запомните! А когда война кончится, мы расскажем о ней, чтобы все знали...

...Снова мы в патруле. Уже отзвучал отбой воздушной тревоги. Мы видим, как впереди, метрах в сорока от нас, люди потихоньку начали выходить из бомбоубежища. И вдруг фасадная сторона пятиэтажного здания, из которого они выходят, будто нехотя и почти беззвучно, вернее, со звуком похожим на шуршание высыпаемого сухого песка, начинает оползать вниз. Никто ещё не успел осознать опасности и сбежать от неё, как в одно мгновение всё стремительно меняется, и стена, уже с жутким грохотом, рушится на выходящих людей, заполняя своими обломками улицу до противоположной стороны тротуара...

...Середина марта. Всех, кроме дежурной роты, сняли с занятий. Мы грузим на машины вытаявшие из-под снега трупы: сделать это надо до прихода настоящего тепла, иначе эпидемии не избежать. Никогда не видели сразу столько убитых и умерших от голода...

А сегодня мы расстаёмся с этим городом.

И в горле у меня снова ощущение удушья, как в минуту ранения. И другие раненые смотрят в щель полога на уносящиеся назад улицы, и никто не пытается притвориться спокойным...

Я ехал и не знал, что ещё осенью сорок первого мой старший брат Василий ушёл с народным ополчением, а в декабре погиб при защите Ленинграда. Только в тылу меня догонит эта весть...

8

...Помню маленький парходик у Ладожской пристани, как опять быстро, почти в полной тишине, в трюмы и на палубу, погрузили нас, часть гражданских и детей. Дети не плакали, а доверчиво шли за родными: кто с узелком, кто с игрушкой в руках.

Погода была пасмурная, стоял лёгкий туман.

Мы понимали, что туман – наше спасение. Все уже были наслышаны об «охоте» фашистских самолётов на речные суда с флагом Красного Креста.

Когда отплыли, и пристань спряталась за кормой в полосах тумана, невольно все стали вслушиваться: не гудят ли в небе самолётные моторы?

– Неужели капитан не может что-нибудь сделать, чтобы наш парход не шумел так сильно? Ведь нас, наверное, на всю Ладогу слышно. И самолёты могут услышать, – такие мысли непрошено лезли в голову, но никто не произносил их вслух.

Временами небо начинало проясняться, и глаза всех на палубе устремлялись к светлому разрыву в облаках.

Слух, казалось, обострился до самой крайности. Возникало ощущение, что слышишь пульсирование крови в висках.

А мы всё плыли и плыли...

Как все вздрогнули, каким оглушительным показался нам неожиданный гудок паровоза!

– Что он так громко гудит? Ведь фашисты услышат и налетят бомбить!
– обожгла первая мысль.

И только потом поняли: где-то там, уже очень близко, другой берег!

Неужели доплыли, и впереди, пока ещё невидимая из-за спасительного тумана, нас ждёт пристань Большой земли? Только в тылу так безбоязненно громко, в полную силу, могут гудеть паровозы!..

Снова нас перегрузили с парохода на машины, перевезли на железнодорожную станцию, находившуюся неподалёку, и разместили по вагонам военно-санитарного поезда.

Вскоре, после переключки между собой дежурных по вагонам, захлопнули двери, и состав тронулся...

Мы ехали в тыл. Кого-то из нас там ждали тяжёлые операции, кого-то лечение после них, но, казалось, что самое страшное уже позади.

Беда подстерегла с другой стороны.

На первой же большой остановке часть ходячих раненых выскочили на перрон.

Даже в те тяжёлые годы к поездам местное население выходило торговать кто чем, но в основном, конечно, продуктами питания. Пусть выбор был скудным, но продавали квашеную капусту, репу, морковь, а главное – отварную домашнюю картошку! Правда, прошлогоднего урожая, но и такой мы не пробовали почти год.

И ещё продавали хлеб! Не по карточкам, не на граммы, а буханками, как в мирное время. Конечно, он не был таким, какой ты привык покупать в магазине, но и совершенно не был похож на блокадный ленинградский – липкий, сырой, тяжёлый.

Перед отправкой нам по денежным аттестатам выдали деньги. И те, кто вышел на перрон, хотя нас нормально кормили, не удержались: купили и картошку, и хлеб. А когда вернулись в вагон, сразу накинулись на еду.

Медсестра бегает, упрашивает:

– Нельзя вам, опасно при вашем состоянии!

Ведь сами знали – нельзя, а оторваться не могли: голод слова не понимает.

Пока упрашивала, некоторые уже всё съели и корчатся на своих полках. Медсестра бегом за врачом. Вернулись, скорее объевшихся забрали на промывание желудка. Кого-то спасли.

Когда ужин начали разносить, отдернут занавеску на полке – а там кто-нибудь из тех, кто тайком купленное съел, уже холодный лежит. Унесли их и сняли с поезда на следующей остановке. И мы на ус намотали, и контролировать нас стали строже...

9

Наконец, приехали к месту назначения в Свердловск.

По прибытии в госпиталь заново всех обследовали, а через несколько дней вызвали меня к лечащему врачу.

Вхожу, а он сидит, мою медицинскую карту просматривает. На взгляд ему лет за сорок, а волосы из-под шапочки – седые.

Поднял глаза на меня, кивнул на стул рядом:

– Садитесь, сержант.

Потом отложил медкарту, ещё раз внимательно всмотрелся:

– Ну, давайте прямо говорить. Ознакомился я со всеми записями в карточке: и военного госпиталя, и результаты нашего обследования. К фронтовым врачам у меня замечаний нет: с ранением в шею всё сделали толково, осколок извлекли, швы наложили грамотно, мы здесь ещё кое-что сделаем, и шея Вас беспокоить не будет. Но вот с глазом...

Он замолчал, покрутил в руках взятый со стола карандаш, и, словно приняв решение, закончил:

– В очень нехорошем месте второй осколок застрял. Он маленький, но трогать его опасно: слишком близко важные нервы глаза. И прирос он там за это время. Не тронуть – значит, есть шанс, что хотя бы свет и темноту глаз различать будет, и удалять глаз не потребуется: он чистый, а кровоизлияние рассосётся. Но как поведёт себя осколок потом – сказать не могу: голова она

и есть голова. На сегодня прогноз благоприятный. Что решаете? Оперироваться или нет?

Меня словно опять взрывом об землю ударило.

До этой минуты я надеялся, что в тыловом госпитале мне вылечат глазу, засорило его тогда, воспалился он, но на то и врачи, чтобы лечить! А теперь вон как дело оборачивается: ещё и осколок в голове останется на память, и как поведёт себя потом неизвестно. Но одно я твёрдо знал: никаких операций больше не хочу. Так и сказал военврачу.

Он пододвинул мне медкарту, карандаш и показал где расписаться. Потом встал, подошёл ко мне.

Я вскочил, а врач крепко пожал мне руку:

– Всё, что в наших силах, сделаем, сержант. Только и Вы постарайтесь... – и, помолчав, добавил – без глупостей. Вам ещё жить да жить.

Потекли госпитальные, похожие один на другой, дни.

Нет, здесь я не совсем прав: похожи они были утренними обходами, лечебными процедурами, перевязками, но в свободное время перед нами с концертами выступали и школьники, и разные артисты, даже из Свердловского оперного театра. И мы для них всегда своё, пусть небольшое, ответное выступление готовили. А таланты среди раненых всегда находились! Всё было от сердца: и у артистов, и у нас, потому и запоминалось надолго.

До сих пор помню, как ещё на фронте, в начале лета сорок второго года, перед нами выступала Клавдия Шульженко: на поляне, без микрофона, около часа она пела для нас. Да как пела! Казалось, начнись сейчас бой, мы без оружия в атаку встанем и победим! Разве такое забудешь!

...После разговора с врачом я продолжал надеяться, что глаз будет видеть лучше, чем предполагают медики. Отказаться-то от операции я отказался, но иногда становилось страшно: а как на самом деле поведёт себя оставшийся осколок?

Я учился прятаться от этой мысли, пытаюсь вспоминать что-нибудь выученное раньше наизусть, повторяя по несколько раз одно и то же стихотворение. Слабость брала своё, и наплывал сон.

Спать и есть теперь мы могли без конца: проснулся какой-то, без преувеличения, волчий аппетит.

Выздоровливающий организм, наверное, хотел наверстать упущенное. И снова, как в дни блокады, когда невыносимо хотелось есть, я начинал пить воду, чтобы обмануть желудок. Я вспоминал происшествие в санитарном поезде и мысленно спрашивал себя:

– Ты этого хочешь?

Не так уж и велики были по нынешним временам нормы госпитального питания: откуда им тогда было взяться большим? Но мы начали набирать вес, а некоторые – нездорово опухать. Врачи объясняли, что после голода такое возможно, но никогда не ставили блокадников на раздачу пищи...

Наступил день, когда мне сняли повязку с глаза.

Военврач оказался прав в своих прогнозах: я мог отличать им только свет и темноту. Внешне глаз почти не отличался от здорового, и это почему-то помогло справиться со злой обидой за рухнувшие надежды. Осколок не беспокоил, и при повороте головы в глазах не вспыхивали искры, как в первое время после ранения.

– Но, но, но, – видимо, поняв моё состояние, начал военврач. – Не так уж плохи Ваши дела. Застрянь осколок чуть дальше, Вы бы не здесь сейчас стояли, а в братской могиле лежали. Возьмите себя в руки.

– Через пару дней выписываем Вас, а что дальше делать – военкомат решит.

В день выписки, с документами из госпиталя, мы, признанные негодными к службе в военное время, явились в военкомат и получили направления на оборонные заводы области.

– А ты, сержант, останься на пару минут, – приказал мне оформлявший документы майор.

Когда все вышли, он продолжил:

– Хотя тебя врачи списали как военного человека, но военную твою специальность радиста они отобрать не могут. Мне вот тоже после ранения дорогу на фронт закрыли, а я у них добился права служить здесь. Приказ Наркома о радиосвязи никто не отменял, поэтому до особого распоряжения будешь при заводе после работы обучать призывников радиоделу. Вот тебе документ на это: я его заранее подготовил – не так часто нам радисты с полной довоенной подготовкой попадают.

Работать меня направили на «Уралмаш».

Не раз от усталости, вместе с другими, спать оставался прямо в цехе: и теплее, чем в общежитии, и ехать никуда не надо. Особенно в те дни, когда после смены я шёл в заводской клуб ОСОАВИАХИМа⁷ обучать призывников радиоделу.

Хотя время было и суровое, но, как и в мирные годы, каждому заводскому новичку старались по возможности устроить проверку и для каждого придумывали что-нибудь новенькое.

Помню, заканчиваю отладку радиостанции, установленной на танк, а ко мне подходит один из «старых» рабочих и с серьёзным видом спрашивает:

– Саш, тут у нас одного на другой участок отозвали. Ты помочь нам немного не можешь? Делов-то минут на пять.

– А чем помочь могу?

– Да на днище танка края вмятины чуток отрихтовать, Я первым ударом место показываю, а ты, следом, по нему – кувалдой. Вдвоём быстрее.

Сразу понятно стало: они, наверное, решили, что если я радист, то не понимаю можно ли рихтовать кувалдой броню на днище танка. Но виду не подал.

Подошли к другому танку, а около него уже больше обычного рабочих крутится и все стараются со мной взглядом не встретиться.

Берёт мой провожатый одну кувалду, подаёт мне другую:

– Пойдём в яму, а то скоро смена кончится.

А я спрашиваю:

– Где рихтовать-то будем: под трансмиссией или на корме?

– Да под трансмиссией. Тебе-то какая разница?

Тут я и пояснил ему:

– Разница есть. Меня учили, что под трансмиссией толщина брони до тринадцати миллиметров, а на корме раза в три толще. Там уж никак кувалдой не выправишь.

Понял он, что розыгрыш не прошёл, как засмеётся, а за ним и другие. Перестали занятой вид делать, подошли ко мне:

– Не обижайся, Сашок! Традиция – дело святое. Не думали, что ты про броню наизусть помнишь...

В ноябре сорок пятого пришло письмо от родных: умер папа.

Два года они с мамой не знали, где их сыновья: живы или нет? Потом начали приходить письма то от одного, то от другого, пришли с опозданием похоронки на Васю, на зятя Ивана.

Папа сам прошёл русско-японскую и войну знал «изнутри»: неприкрашенную, не пересказанную чужими словами.

Как написала сестра, иногда вечером садился к столу, брал письма сыновей, начинал перечитывать. Одно прочтает, разволнуется. Соберёт их опять вместе, унесёт, а потом себе места не находит.

«Врач сказал – от сердца помер. Думаем: не выдержало оно радости, что четверо живыми вернулись» – так было написано в письме сестры.

Конечно, пока письмо дошло, отца уже похоронили, но я хотел хоть свежей могиле его поклониться. Прибежал к мастеру просить краткосрочный отпуск на родину, но мне его не дали: на оборонных заводах были свои порядки.

– Отец Ваш похоронен. За сколько дней Вы доберётесь до дома и обратно при такой «скорости» поездов – неизвестно. Да ещё в военной

комендатуре разрешение нужно заранее оформлять. А у нас – план, госзаказ, каждый человек на счету. Сочувствуем, но разрешить не можем.

Сгоряча я хотел уехать без разрешения, но сосед по комнате, тоже бывший фронтовик, остановил:

– Не дури! Первый же патруль задержит. А тогда, сам понимаешь, и на прежние заслуги не посмотрят!⁸..

Только через год я смог приехать на могилу отца. К тому времени нас, несколько человек, направили на металлургический завод, в Каменск-Уральский.

Кто и почему так решил – не знаю. Не знал, конечно, и того, что уже навсегда моя жизнь окажется связанной с этим заводом и с этим городом.

10

После войны отец писал запросы в архивы Ленинградского военного округа, в Центральный архив Министерства Обороны.

И за всё время отыскался только один однополчанин – Серебренников Александр, который жил тоже на Урале, в Свердловской области. Отыскался через тридцать два года после начала войны, в 1973.

Погостил у нас его фронтовой друг, оставил на память свою небольшую фотокарточку. На обратной стороне написал: «Дорогому другу по совместной службе в рядах Советской Армии Саше Покидышеву от его однополчанина Сашки Серебренникова». Потом провёл поперечную черту и ниже неё добавил стихи:

«Когда призвала нас страна
Мы в Армию пришли.
Когда нагрянула война,
Мы смело в бой пошли.
Погибли многие друзья –
Не перечсть числа.
Но радость встречи ждёт живых
И, в том числе, меня.

Твой Сашка. 23.2.1973 г.»

Прощаясь, оба понимали, что второй встречи может и не быть.

Теперь та фотография у нас дома хранится среди фотографий наших родных.

А военврач из Свердловского госпиталя, говоря об осколке, оказался провидцем.

Два раза папа неожиданно терял сознание: первый раз в 1959 году, а потом в 1964. Оба раза «Скорая помощь» увозила его, не зная, какой поставить диагноз. А к обеду, он сам возвращался домой из больницы, и, смеясь, рассказывал, как дежурный врач упрашивал его:

– Александр Дмитриевич! Миленький! Ради науки дайте Вас прооперировать! Я хоть посмотрю, что у Вас там такое случилось!

И обижался на отказы папы:

– В другой раз и спрашивать не буду! Прооперирую – и точка!

11

В последние годы жизни отец часто вместо любимого баяна брал в руки балалайку.

Настраивал её то на один лад, то на другой, поясняя мне:

– Так играли на нашем краю деревни, а вот так – на другом... Вот это называется балалаечный строй, а это – гитарный... Ты послушай как под него пели...

И пел частушку за частушкой, а потом вдруг отставлял балалайку и уходил в свою комнату.

Я, конечно, слушал его, но ещё не мог понять: отец знал, что здоровье уже не позволит ему приехать в родные места, встать на высоком берегу Молвы и запеть, как раньше, чистым баритоном:

Вижу чудное приволье,

Вижу нивы и поля –

Это русское раздолье,

Это Родина моя...

Он всегда во время приездов «здоровался» этой песней с родными местами.

В вечерней летней тишине далеко слышно. И в домах, стоявших около реки, услышав папин голос, говорили:

– Шура домой приехал!..

Он знал, что больше не приедет туда, а песни его были поклоном далёкой родине и прощанием с нею.

Ни разу после войны он не смог заставить себя приехать в Ленинград. В Москву, на свой первый завод, МЭМРЗ, приезжал. А в город, где встретил войну – не мог... Но баян себе в начале пятидесятых выбрал именно Ленинградской фабрики «Красный партизан». На лицевой стороне правого полукорпуса ярко выделялась накладная надпись из белой пластмассы с нижним подчёркиванием: «Ленинград»...

В последнюю минуту жизни, словно услышав чью-то команду, он вскочил с края кровати, на которую только что присел, шагнул вперёд и упал навзничь, будто встав в атаку, не уберёгся от вражеской пули.

...Сегодня уже нет в живых ни моего отца, ни четверых его воевавших братьев.

До сих пор мне не удалось найти могилу, в которой похоронен самый старший из братьев, ополченец Василий Дмитриевич Покидышев, 1906 года рождения, погибший за город, что стал ему родным.

Не смог отыскать могилу своего отца Богданова Ивана Алексеевича и мой двоюродный брат Богданов Владимир Иванович. Ни Иван Алексеевич, ни его жена Наталья Дмитриевна, умершая почти сразу после родов, так и не узнают, что их сын окончит Московский медицинский институт, и будет работать в Звёздном городке, в Центре Управления полётов.

Нет Алексея Дмитриевича. В двадцать девять лет, в сорок первом, он ушёл на фронт, а летом сорок второго, как специалиста-железнодорожника, его отозвали назад, на Московскую железную дорогу. Но вскоре снова направили на фронт. Воевал в пехоте, участвовал в освобождении Праги,

был ранен. После войны вернулся в вагонное депо станции Перово и работал здесь до пенсии.

Михаил Дмитриевич был ранен в боях под Минском, попал в плен. Ему только-только исполнилось двадцать четыре. При ликвидации первого концлагеря пытался бежать, но неудачно: перевели в другой лагерь с более жёстким режимом. При подходе наших войск снова бежал с группой своих товарищей. Рассредоточившись по два человека, они несколько дней прятались в прилегавшем к лагерю болоте. Дождались наш танковый десант. Опять воевал – уже до Победы. Имел награды. До ухода из жизни от сердечного приступа работал сначала учителем, потом директором Владимирской сельской школы Кораблинского района Рязанской области.

Самый младший из братьев Николай Дмитриевич, 1924 года рождения, не дожидаясь призывного возраста, ушёл добровольцем и тоже воевал до Победы. Войну, как и его старший брат Алексей, закончил под Прагой. Орденоседец, внесён в Книгу Памяти и славы Рязанской области. Похоронен в родной рязанской земле.

Нет и моего деда Степана Степановича Черепякина – уроженца Тамбовской области. Вместе с другими работниками эвакуированного Ступинского металлургического завода приехал с семьёй на Урал. Он тоже добровольно пришёл в военкомат и был направлен на железную дорогу. Вначале работал кочегаром, потом – помощником машиниста: водил поезда от станции Синарская (ныне станция Каменск-Уральский) до Екатеринбурга, Перми на запад и до Омска – на восток. В войну было понятие «турная езда»: за тендером паровоза цепляли «теплушку», в которой жили члены локомотивных бригад во время их поездок.

В разное время они ушли из жизни.

Но часть их памяти осталась со мною. И тот отцовский осколок остался в моей памяти. Он всё чаще напоминает о себе, и мне подчас очень трудно жить с ним.

Поэтому сегодня, может быть, слишком поздно, но я решился рассказать услышанное об их **Войне**.

Пусть это будет **попыткой вспомнить за тех, кто не написал свою книгу, попыткой вспомнить за отца ...**

¹ Совет труда и обороны 5 июня 1929 года принял постановление «Об организации машинно-тракторных станций». Созданные государственные машинно-тракторные станции (МТС) обеспечивали производственно-техническое обслуживание колхозов. В системе МТС обучались кадры сельских механизаторов.

² Школа фабрично-заводского ученичества (школа ФЗУ) – основной тип профессионально-технической школы в СССР с 1920 по 1940 год. В 1930-1939 годах обучение проходило в основном на базе 7-летней школы и, из-за сокращения часов на общеобразовательные предметы, срок обучения снизился до 1,5-2 лет.

³ «...После окончания войны с Финляндией части связи, сформированные 20 запасным полком связи, выполнив специальные задания командования ЛенВО, прибыли для расформирования в 20-й запасный полк связи округа.

На базе этих частей и 20 запасного полка связи вновь сформирован 2-й полк связи округа.

В ходе Великой Отечественной войны выявилась необходимость создания целого ряда частей связи. В 1941 г. 2-м полком связи Ленинградского округа было сформировано и отправлено на фронт несколько частей связи, в том числе 14-й отдельный линейный запасной полк связи и 26-й отдельный полк связи (командир полка полковник А.Н. Коровников), который предназначался для обеспечения связи штаба Северного фронта, а в последующем Ленинградского фронта...» (Из истории 95 Ленинградской Краснознамённой бригады управления имени 50-летия образования СССР, в/ч 13821, 188651, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Чёрная речка)

⁴ «Тимошенко Константин Семёнович (1895-1970) – Маршал Советского Союза (1940), дважды Герой Советского Союза (1940,1945)... В советско-финскую войну командовал войсками Северо-Западного фронта. В мае 1940 – июле 1941 нарком обороны СССР...». («Великая Отечественная война. 1941-1945», энциклопедия)

⁵ «...система долговременных фортификационных сооружений и заграждений Финляндии на Карельском перешейке...» («Великая Отечественная война. 1941-1945», энциклопедия)

⁶ «...В июле 1941 издан приказ наркома обороны «Об улучшении работы связи в Красной Армии». В нём отмечалось, что неудовлетворительное управление войсками в значительной мере является результатом плохой организации работы связи, и в первую очередь игнорирования радиосвязи...» («Великая Отечественная война. 1941-1945», энциклопедия)

⁷ ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству) – общественно-политическая оборонная организация (1927-1948 г.г.), предшественник ДОСААФ.

⁸ Только 25 апреля 1956 г. будет принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об отмене судебной ответственности рабочих и служащих за самовольный уход с предприятия или учреждения и за прогул без уважительной причины».

ГОРОДУ ЛЕНИНГРАДУ

1

Война – от этой темы не уйду.
Пока живу – болею ей и брежу.
И с памятью по Ладожскому льду
«Дорогой жизни» вспать бреду в надежде

Что где-то здесь я встречу вдруг отца
Такого непривычно молодого,
И в том бою с ним буду до конца,
И раны сам перебинтую снова,

В полуторке сам отвезу в санбат,
С ним поплыву по Ладоге туманной...
А может мимо пролетит снаряд?
Не будет ран, машины санитарной?..

Да, чудеса бывают на войне.
Куда там сказкам разным вместе взятым.
Ах, если б наяву, а не во сне,
Вернулись все, кто не пришёл обратно!..

2

...Год сорок первый. Ленинград.
Чуть стих налёт артиллерийский,
Как тут же с воздуха бомбят
По расписанию, садистски.

На краснозвёздный самолёт –
По восемь – с чёрными крестами.
За Мгу и Тихвин бой идёт.
На сотни вёрст – огонь и пламя.

Блокадное кольцо фронтов
Петлёю захлестнуло город.
Снаружи – полчища врагов,
Враг изнутри – смертельный голод.

В тот самый страшный первый год
Никто судьбы своей не зная,
Хотел увидеть, как придёт
Заветный День и наше знамя
Внесут в поверженный Берлин.
И будет солнечное утро.
И на обломках ИХ руин
Напишет кто-то краской крупно:

«За Ленинград!». И на стволах
У пушек, танков в схватке боя
Та надпись всех уже звала:
Звала к Победе за собою!

Вдруг память как взрывной волной,
Швырнет безжалостно и слепо
В окоп по-мартовски сырой,
На ту войну, где даже не был.

Родную землю рвет снаряд
И лес оглох от канонады.
А за спиною – Ленинград,
«Дорога жизни» и блокада.

Одна винтовка на бойца,
Патронов – семь, и две гранаты.
Но вновь встают на шквал свинца
Полуголодные ребята.

Встают почти что пацаны:
Ведь им ещё не всем по двадцать.
Нет у войны другой цены –
За жизнь лишь жизнь должна сражаться.

И ртом, распухшим от цинги,
Кричит полуохрипший ротный:
«Вперёд! За Родину, сынки!»
Встают – в огонь прицельно плотный.

...С осколком в голове, отца
Везла полуторка к санбату –
В крови, в бинтах на пол-лица,
Всё рвался он в бреду обратно.

С осколком дожил до седин,
А в День Победы молча плакал
Солдат, оставшийся один
Из всех поднявшихся в атаку.

...Меня накрыло вдруг войной,
Той, на которой даже не был:
Окоп по-мартовски сырой,
Прожектора кромсают небо,

Надсадно канонада бьёт.

К Победе путь ещё так долог.
...Мне жить спокойно не даёт
Застравший в памяти осколок.

4

По рассказу моего попутчика
в электропоезде «Каменск-Уральский – Курган»
(май 1986 г.) о боях под Ленинградом в июле 1942 г.

«...С утра приказ был: наступать.
А пушки – с вечера в болоте.
Одним расчётам – не достать,
За помощью к кому? К пехоте.

Лицом к гнилой воде склоняясь,
Из топи тянем на сухое,
И под колёса, молча, в грязь
Сам лёг один, второй... Такое

Придумать даже – страшный грех:
Живые люди – вместо гати.
Я до сих пор их помню всех,
По смерть мне той высоты хватит...

И сходу: «По врагу – огонь!»,
Едва успели окопаться,
В ушах от взрыва жуткий звон –
И больше я не смог подняться.

Казалось, будто голова
Распалась сразу на две части,
И кровь лилась по рукавам,
Пока стянуть пытался каску...

Вот так закончил я войну:
Очнулся только в медсанбате.
Те пушки в каждом сне тяну...
Прости, сынок, вдруг сердце схватит» –

Тут мой попутчик замолчал,
Лишь дёрнул у рубахи ворот.
Вагон мотался, нас качал
На стрелках – мы въезжали в город.

И безымянный мой сосед
Ушёл с толпою пассажиров,
Пока готовил я ответ:
«Спасибо Вам, от всех, кто живы,

От всех, кого тогда спасли
В своём бою под Ленинградом»,
И имя не успел спросить,
Пока в купе сидели рядом.

...Меня накрыло вдруг войной,
Той, на которой даже не был:
Я вижу свой окоп сырой,
Прожектора кромсают небо,

Подсумок, фляга на ремне,
Туман болот под Ленинградом...
 Всю жизнь взрываются во мне
 Не долетевшие снаряды...

КУРСАНТЫ

На обратной стороне фотографии отца
надпись фиолетовыми чернилами:
«Полковая школа. Второй полк связи.
г. Ленинград. Зима 1940-1941 г.
Баров, Сергеев, Сычёв»

Глухая ночь. Все в доме спят.
 Неслышно сны порхают стаей.
 Был День Победы и Парад,
 Светилась цифра «60»,
 Гвардейской лентою сверкая.

В полнеба полыхал салют,
 И пели песни фронтовые
 От сердца, как сквозь боль поют
 Тем, кто уже в другом краю,
 Но кто для нас – всегда живые.

Их голоса, их кровь и боль
 В виске пульсируют набатом:
 Бессонной ночью снова в бой
 Их память нас ведет с собой
 От Дня в июне к Дню Парада.

Курсанты школы полковой,
 Последний мирный выпуск летний.
 Одним – окоп передовой,
 Другим – в десант, блокада – третьим:

«Запас», «негодный к строевой»,
 Учить ускоренно «морзянке».
 Им хлеба в день – накрыть рукой,
 Дрова – самим рубить в делянках.

А холод страшный – как назло,
 Топор – кувалды тяжелее,
 Бревно тянуть через сугроб:
 Ознобный жар лишь тело греет.

А вечером – нелегкий путь
 Наряда патруля дозором
 С приказом на суровый суд:
 Расстрел на месте мародеров.

Ни дистрофия, ни цинга
 Вас в лихолетье не сломила:
 «Хотя бы одного врага

Убить, пока подняться в силах!»

С тем уходили вы на фронт,
Не долечившись в медсанбатах.
Блокадный сорок первый год
Был шаг к Победе в сорок пятом.

3

Сергеев, Баров и Сычев,
И мой отец – он крайний слева.
Война не началась ещё.
Начался год лишь сорок первый.

Ваш снимок – как он уцелел
И на войне, и в годы после?
Что патефон тогда вам пел,
Уже не спросишь – слишком поздно.

Курсанты школы полковой,
Второй полк связи, выпуск летний:
Вдруг кто из вас ещё живой?..
Молчат. Нет сна в поре рассветной.

Их не вернуть из тишины.
Отец не сядет у постели...
Мы все – осколки той войны,
Что до сегодня долетели.

ЛАДОГА

С утра на Ладогу туман
Лёг белым пухом непроглядным.
Опять уходит караван
К Большой Земле из Ленинграда.

На белых флагах – Красный Крест,

Но лучше пусть туман не тает:
Ведь «мессер», взяв цель в перекрест,
Здесь никого щадить не станет.

Носилок, раненых – битком
На палубах. А в трюмах – дети,
От голода – белей бинтов:
За что им это лихолетье?

Все звуки остро ловит слух:
Лишь волны бьются в стены трюма.
Над палубой – тумана пух.
На барже – раненая юность.

Так тихо – будто уже тыл,
Как будто не вчера здесь выли
Чужие бомбы с высоты,
И взрывы солнца свет затмили.

Спасенья не было нигде,
И гарью пахло до удушья,
И сиротливо на воде
Качались детские игрушки.

...Доплыли. Сходу, спешно, в тыл
Грузились в санитарный поезд.
Но сколько тех, кто не доплыл,
Остались, Ладога, с тобою?

Войны короткий эпизод,
Где случай жизнь дарил вслепую.
И был июнь – шёл второй год
Сражений за страну родную.

23.02.1943 г. У ДЕРЕВНИ ЧЕРНУШКИ

Посвящается памяти
А.М. Матросова, Г.П. Кунавина*,
всем воинам, закрывшим собой амбразуры,
всем защитникам Родины

В окопе – снег с землёю вперемешку,

А пахнет вдруг подснежником, весной.
Сто лет прожить неплохо бы, конечно,
Ну, а пока – покончить бы с войной.

Там, впереди, на склоне у высоты,
Зашёлся лязгом в ДЗОТе пулемёт;
И, кажется: из пуль весь воздух соткан,
Но я уже шепчу себе: «Вперёд!»

Распался миг на тысячи мгновений,
Мне ясно виден пуль слепой полёт,
И надо встать, да силы нет в коленях,
Но я уже сказал себе: «Вперёд!»

Ещё лежу, но в теле есть команда –
Стремительнее тока в проводах.
Я жить хочу! Но ведь кому-то надо
Перешагнуть через себя и страх!

С трудом от снега тело отрывая,
Я, вижу, как в кино, со стороны:
Уже ползу, свой автомат сжимая,
Среди какой-то странной тишины.

Но вот и ДЗОТ. И поздно на попятный:
Так близко вспышки выстрелов видны;
Что не дожил – пусть доживут ребята.
И дай им Бог вернуться всем с войны!

Рывком встаю, о пули ударяясь,
Лечу так долго на проклятый ДЗОТ,
Весною пахнет мать-земля сырая,
Да не ко мне весна теперь придёт.

Удар о землю. Выдыхая тяжело,
Я обнял ДЗОТ как друга – лучший друг.
...Из-за спины рвануло криком: «Сашка!...»,
А он лежал, не разжимая рук.

...Опять февраль, такой же озорной,
Поземку гонит, с ветрами танцуя,
Там, где бойцы вставали в смертный бой
За отчий дом и за страну родную.

У старых обелисков и крестов

Подчас уже и некому заплакать,
Но и сегодня, сколько новых вдов! –
Жён тех, кто под огнем вставал атаку

Не для бравады, не для орденов,
А просто по-другому не умели.
Над русскими просторами снегов
Пюют о них февральские метели...

* Ефрейтор Григорий Павлович Кунавин 26 июля 1944 года в бою за деревню Харасимовиче, расположенную в пяти километрах восточнее польского города Домброва-Бялостоцка, своим телом закрыл вражескую амбразуру.

Родился 8 (21) января 1903 года в селе Байны ныне Богдановичского района Свердловской области в крестьянской семье. Русский. Окончил начальную школу в посёлке Каменск-Уральский, ныне город Свердловской области. (По материалам сайта www.oblgazeta.ru)

ПЕРВЫЙ БОЙ

«С 12 сентября ... в городе развернулись
ожесточённые уличные бои...»

«...Потери Красной Армии в Сталинградской битве
составили 1 млн 130 тыс. солдат и офицеров...»

(Из официальных источников)

...Он умирал. А рядом, бесполезный,

Лежал пустой, разбитый автомат.
Фашисты на этаж уже не лезли,
И грохот боя отступил назад,

Куда-то вниз, и стал почти не слышен,
И в голове стоял неровный гул,
И каждый миг казался долгим, лишним,
Срываясь в шёпот пересохших губ,

Который самому казался криком,
В слепой надежде повторявшим: «Пить!..»
Он не успел ещё к войне привыкнуть.
Как никогда ему хотелось жить.

Одежда на боку от крови взбухла,
И он не раз сознание терял.
В свой первый бой их взвод вступил под утро.
Кто жив, кто – нет, боец уже не знал.

Он умирал мучительно и трудно:
Свой первый бой закончивший солдат.
... У матери, не веря, шепчут губы
Вслед строчкам: «...сын погиб... за Сталинград»

ЧТО Я ПОМНЮ ОБ ОТЦЕ

(Отрывки из письма друга)

«...После нашего разговора я задумался: а на самом деле – что я помню об отце?»

Вначале вопрос даже нелепым показался: да всё помню – и то, каким он был, и рассказы, начиная с его детства в деревне. Только когда попытался сложить их в одно целое, понял: отрывки помню, а в целое они не складываются.

Причём я отлично вижу его самого, как он чуть сутулясь из-за своего высокого роста, неторопливо ходит рядом по комнате, его спокойные и скупые движения больших рук, когда он передвигает немного в сторону стул, одним боком почему-то оказавшийся у него на пути...

Наверное, в каждой семье есть старый фотоальбом с такими же старыми фотографиями, ещё на картонных подложках или в пожелтевших паспорту с тиснёными вензелями в углах, и, конечно, в пару к нему, есть старая небольшая сумка, в которой хранятся семейные документы.

Сейчас я сижу за столом с такой сумкой, с вынутыми из неё документами, и с раскрытым старым фотоальбомом.

Я вижу отца и одновременно складываю и складываю один отрывок с другим: отрывок из документа к отрывку из запомнившегося рассказа, а потом снова: документ, фотография, рассказ, рассказ, фотография, документ...

Вот заверенная нотариусом письменная копия паспорта:

Душкин Павел Васильевич, родился 16 января 1915 года в селе Куликово Дрязгинского района Воронежской области...

О его родителях я почти ничего не знаю. Знаю, что имя деда, конечно, было Василий, но отчества не помню, а бабушку звали Дарья Игнатьевна.

Семья была очень работающая. «На ноги встали» во время НЭПа, без наёмных работников: всё сами. Жили по деревенским меркам того времени хорошо.

По словам отца в 1928 году их «раскулачили»: всё отобрали, из дома выгнали, и жили они то ли в хлеву, то ли в сарае. Деда вообще выселили из деревни с «волчьим билетом». Насколько я помню, это некий документ или справка. Человек с такой справкой должен был регистрироваться в каждом

населённом пункте, но не имел права находиться там более трёх дней. И на работу с «билетом» не брали.

Куда после выселения сгинул дед, неизвестно: отец о нём больше ничего с тех пор не слышал.

Знаю, что со старшим братом, кажется, его звали Иван, у отца была значительная разница в возрасте. После полученного во время Первой мировой войны ранения брат хромал на одну ногу, поэтому от службы в армии был освобождён. А младший, Василий, пропал без вести в Отечественную войну.

Отец его после войны долго искал, направлял всевозможные запросы, и, кажется, где-то уже в шестидесятые годы получил подтверждение о его гибели. У отца была единственная фотография Василия, на которую он часто и подолгу смотрел и смахивал слёзы...

Была ещё сестра, кажется Ксения, немного постарше отца. Наверное, были и другие братья и сёстры: дети нередко умирали в крестьянских семьях. В памяти остались только эти.

Вообще, как видишь, всё одни «кажется» да «вроде бы». Не приучены были наши родители или, оберегая нас, не доверяли бумаге свою родословную: вдруг в чужие руки попадёт? И как потом всё обернётся?

Вот и росли мы без родительского прошлого, без памяти о нём: «мы наш, мы новый мир построим...»

Да и условия не подходили для писания биографий и родословных – надо было выживать...

Поэтому отец в тринадцать лет пошёл работать на лесоразработки. Платили мало, но хотя бы кормили.

Но всё равно до войны отец успел закончить семь классов.

...С июля тридцать четвёртого года по апрель тридцать девятого папа работал разнорабочим (вслушайся в название!) в научно-исследовательском совхозе имени Сталина. Совхоз находился в посёлке Шульгино Мордовского района Тамбовской области.

Здесь он и встретился со своей будущей женой, нашей мамой, шестнадцатилетней девчонкой Дусей – Евдокией Андреевной Зайцевой.

Мама было родом из какой-то близкой к посёлку деревни. Она в том же апреле тридцать четвёртого устроилась официанткой в столовую совхоза.

Мать рассказывала, как она впервые «познакомилась» с отцом.

В обед в столовую всегда приходило много рабочих совхоза. Она, как в ресторане, собирала заказы, разносила им блюда.

В общем, засуетилась, забегалась, и забыла принести отцу чай. Тот ждал-ждал, грохнул кулаком по столу и закричал:

– Ты когда мне, курица, чай принесёшь?

Но настоящее знакомство и серьёзные отношения начались у них спустя несколько лет...

В апреле тридцать девятого отца призвали в армию.

С этой весны мама будет ждать его. Она закончит Черкасскую автошколу, до июня сорокового года будет работать шофёром в совхозе, реостатчиком, весовщиком, заведующей магазином. Ей, наверняка, и не думалось, что разлука затянется до июня сорок шестого года, пока её жених пройдёт Финскую и Отечественную войны, а потом приедет за ней...

Но опять возвращаюсь к отцу.

Передо мной его красноармейская книжка.

Многие записи выцвели и читаются с трудом, поэтому снова получают обрывочные сведения.

По порядку.

Участвовал в Финской войне в составе 287 стрелкового полка. В октябре 1940-го демобилизовался: непонятно, почему так быстро, да? Тогда ведь не меньше двух лет служили. Но, может быть, срок по-другому исчислялся за участие в военных действиях?

С 10 ноября 1940 г. по 18 августа 1941 г. работал слесарем-сантехником 6 разряда в Государственном Союзном строительном-монтажном тресте № 20 Наркомата авиационной промышленности – в том самом

тресте, что занимался демонтажем двух цехов Ступинского металлургического завода и их монтажом у нас, в Каменске-Уральском. Вот здесь впервые появляются и Каменск, и наш завод.

Но не могу увязать всё это с периодом после армии.

Рассказывая о нём, отец употребил бытовавшее тогда выражение «сидеть на колуне». Так называли время, когда у человека нет ни еды, ни денег, до получки далеко, да и слишком она мала, чтобы дотянуть до аванса, занять не у кого: у них дела не лучше. Выходили из положения, кто как мог: любыми случайными приработками, чаще всего за еду. Семью при таких «капиталах» не заведёшь. Отец начал подумывать: не пойти ли снова в армию, уже добровольцем?

Тут и началась война.

30 августа 1941 года папу мобилизовали в Красную Армию из Каменска-Уральского Челябинской области (интересно, Каменск действительно тогда относился к Челябинской области?*). В сентябре сорок первого зачислили в 8-й отдельный лыжный батальон 29-й танковой бригады радистом, в звании сержанта. Бригада воевала на Волховском фронте.

Интересно, что записи в красноармейской книжке отца, которую ему выдали 4 декабря 1943 года, не совпадают с записями в военном билете, выданном 22 апреля 1964 года.

По красноармейской книжке отец принял присягу 15 ноября 1941 года и был ранен в голову в декабре этого же года. А в военном билете указаны другие даты: присяги – 1 октября 1941 года, а ранения – январь 1942 года.

Пусть даты не совпадают, но шрам на голове, чуть повыше лба, от осколочного ранения, хорошо помню: осколок пробил каску. Это было под Ленинградом.

После ранения отца опять направили на фронт.

Записи в красноармейской книжке:

«Март 1942 г. – 21-я танковая бригада, МБА, радист, сержант.

Апрель 1942 г. – 29-я танковая бригада, рота управления, взвод связи, ст. радиотелеграфист, ст. сержант.»

«Вступил в партию в 1943 году» – дата стёрлась.

Кстати, вроде бы столько натерпелся от власти, а коммунистом был убеждённым, никаких шуток по этому поводу не признавал. Надо же, как была поставлена пропаганда у большевиков. Да что об отце говорить, по себе знаю: когда учился в институте, Павка Корчагин был ещё тот, ну, я, то есть.

Но опять отвлёкся.

Думаю, что в партию отец вступил на Курской дуге.

Как он рассказывал, бои были страшными по ожесточённости с обеих сторон: танки, стоя друг напротив друга, ствол в ствол, вели стрельбу в упор. Подчас они даже разъехаться не могли из-за обилия подбитой техники.

В один из боёв отец, с рацией, настроенной на приём, находился в блиндаже рядом с командиром полка. Тот ставил боевую задачу капитану Похитону: во время боя, не покидая головного танка, корректировать огонь артиллерии по второму эшелону обороны немцев.

Выслушав от Похитона ответ «Есть!», комполка налил в алюминиевую кружку водку и протянул капитану. Тот, молча, выпил, поставил пустую посуду на стол, вытянулся по стойке «Смирно» и отдал честь командиру: оба понимали – с такого задания живыми не возвращаются.

Пока танк, на котором находился капитан, мог уходить из-под огня – уходил, не прекращая передавать координаты для наводчиков по установленной форме, с позывными.

Отец торопливо повторял получаемые данные, но связь с Похитоном то и дело прерывалась. В какой-то момент перерыв в связи был очень долгим, а потом в наушниках опять раздалось:

– «Первый»! «Первый»! Я – «Второй», – услышали они голос капитана.

– Есть связь! – торопливо доложил отец.

Комполка, не выдержав, вырвал у него микрофон, и плотно зажав тангенту, открытым текстом закричал:

– Похитон! Дружок!.. Дружок!.. Ты где?

– Мой танк подбили! Взял рацию, залез на берёзу. Слушайте координаты...

И едва начавшись, связь опять оборвалась. Отец без конца повторял:

– «Второй!» «Второй!»! Я – «Первый!»! Приём!

Но капитан на вызовы не отвечал.

Бой продолжался...

Когда солдаты полка дошли до израненного пулями и осколками снарядов обломка ствола, оставшегося от берёзы, то увидели лежащего рядом капитана Похитона...

Про тот бой на Курской дуге отец часто вспоминал, и каждый раз его губы начинали дрожать под конец рассказа...

И опять записи в книжке бойца:

«Карельский фронт – 1944 г.

Белорусский фронт – 1945 г.

Май 1945 г. – май 1946 г. – 67-я отдельная танковая бригада в составе Группы Советских оккупационных войск в Германии.

Демобилизован в мае 1946 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1946 г., как родившийся в 1916 году».

На самом деле отец родился 16 января 1915 года, но как вкралась ошибка, сейчас, конечно, не узнаешь. Не этим ли объясняется, что отец ещё год служил после войны?

После демобилизации съездил за матерью в Тамбовскую область. Там они поженились 25 июня 1946 года.

Отец предложил матери ехать в Каменск на завод, который начал строить до войны. Мать согласилась, и 20 сентября этого же, сорок шестого года, отец был принят слесарем-сантехником на завод № 268.

Да, ещё чуть не забыл.

У старшего брата отца был сын, Андрей – одноклассник папы: чувствуешь разницу в возрасте между детьми в одной семье? Вот они-то и росли как братья.

Дядю Андрея я помню, ездил к нему с родителями в Наро-Фоминск в 1966 году. Он тоже прошёл всю войну. Помню доставал из коробочек и показывал уйму орденов и медалей. С отцом они постоянно переписывались.

Упорству отца я всегда поражался.

Уже после войны он окончил вечернюю школу, что находилась у нас, на посёлке Чкалова. Потом, в пятьдесят шестом году, поступил в Каменск-Уральский вечерний авиационный металлургический техникум и закончил его в шестьдесят первом году по специальности «обработка цветных металлов и сплавов давлением» с присвоением квалификации техника-технолога.

Помню, когда вечерами отец поздно сидел за домашними заданиями, мы из прихожей на кухню или в маленькую комнату через большую ходили вдоль стенок. Ты же помнишь нашу квартиру по улице «4-й Проезд»?

В большой комнате, за столом, занимался отец. Тревожить его было опасно. Ну, а если потревожил, то частенько в твою сторону летел тапок. На вопрос «За что?» следовало:

– Ах, ты ещё и огрызаешься!

И на затылок обрушивалась тяжёлая рука отца.

Конечно, столько лет перерыва в учёбе, две войны, работа, трое детей... Нервы сдавали.

Вообще, насколько я сейчас оцениваю отца с высоты моих лет, это был настоящий мужчина. Суровый, рассудительный, немногословный, физически сильный. Он никого и ничего не боялся, кроме, наверное, как и многие в то время, возможных репрессий.

Помню как после известного съезда Партии и разоблачения культа личности мать потихоньку, шёпотом, в первый раз нам рассказала, что они с

отцом раскулаченные. Оказывается, семья матери тоже была отнесена к кулакам и наказана соответственно.

Отец и тогда о своей семье почти ничего не рассказывал, да и о войне тоже. Начал рассказывать года за три-четыре до своей смерти, причём почему-то мне, а не старшим братьям. Видимо, рассчитывал, что я эту память сохраню лучше.

Были такие откровения не раз, но короткие, а обстоятельные получились раза два. Они особенно запомнились.

Один разговор – это, когда я с женой находился в растянувшейся на три года – с 1979 по 1982 год – командировке в городе Лысьва Пермской области. А в 1980-м отец приезжал ко мне в гости дня на четыре.

Второй – в 1984 году, в Свердловске. Мы ходили с ним поздним вечером по улице Малышева в районе ВТУЗ-городка, и он много и интересно рассказывал о довоенных годах, о войне, о первых послевоенных...

Даты, фамилии, номера военных приказов, их содержание – вещи, о которых многие годы говорить было нельзя...

Эх, тогда бы иметь магнитофон или диктофон, или записать, пока в памяти всё свежо было! Сколько не сохранил в этой вечной гонке!..

Фильмы о войне советских времён отец не любил. Если начиналось такое кино по телевизору, он обычно вставал, и со словами «Я эти сказки смотреть не хочу», уходил. Исключением были, пожалуй, только «Живые и мёртвые». Этот фильм отец уважал с тех пор, как мы впервые увидели его в нашем старом клубе на посёлке Чкалова...

И опять возвращаясь к нашему разговору об отцах: как назвать такие совпадения в их и в нашей жизни?

И у тебя, и Уважаемые господа, нас бабушку звали Дарья. Отцы жили, считай, в соседних областях. Призвали их – при разнице в возрасте в пять лет – в одном тридцать девятом году, в один и тот же Ленинградский Военный округ, там вместе встретили войну. У обоих – осколочное ранение в голову. Оба после войны оказались в одном городе и на одном заводе...

И мы в этой жизни не разминулись: жили в одном дворе, учились в одной школе, институты кончали в одном городе, тогда ещё Свердловске, хотя в шутку часто между собой его Екатеринбургом называли – напророчили. И не потерялись за столько лет – это тоже не маленько!

Вот, Коля, «шершавым языком плаката» сухую статистику изложил.

Ах, да, награды отца забыл назвать: «За оборону Ленинграда» (1942 г.), «За отвагу» (1944 г.), «За взятие Берлина» (1945 г.), «За победу над Германией» (1945 г.).

Обидно думать, что даже эти крохи памяти об отце могут бесследно пропасть...

15.04.2011 г.

Слава»

* 15.06.1942 в состав Свердловской области из Челябинской области переданы город областного подчинения Каменск-Уральский, Каменский и Покровский районы.

ПОСЁЛОК ЧКАЛОВА

(Отрывки из книги «ЗА КРАСНЫМИ ГОРАМИ»)

«Исполком Горсовета РЕШИЛ...»

Наверное, к каждому человеку со временем приходит осознание своей неразрывности с местом своего рождения: будь это громадный город или небольшая деревенька, глухой кордон в глубине леса или необозримый степной простор – кому что выпадет.

Мне выпало родиться в той части Каменска-Уральского, что до настоящего времени называется посёлком Чкалова.

Долгие годы я воспринимал его название как саму по себе возникшую данность, которая была до моего рождения и будет потом.

Но недавно один мой знакомый, перебравшийся в Каменск-Уральский из близлежащей деревни, когда узнал, что я родился и вырос на посёлке Чкалова, с усмешкой обронил:

– А, из Чикаго.

– Почему? – удивился я.

– Да казино там открыли с таким названием. Поэтому некоторые теперь посёлок так называют.

«Неужели место, где ты родился, может так легко потерять своё настоящее имя? – подумалось мне. – Немало американизмов вошло в наш разговорный и деловой язык, но неужели так просто вытеснить имя посёлка?»

Наверное, тогда и появилась у меня мысль узнать, когда и каким документом закреплено было за посёлком его название.

При первой попытке мне не повезло: в городском архиве сказали, что столь давние документы отправлены в областной архив.

Специалист областного архива, выслушав меня, объяснила порядок проведения поиска по запросу: необходимо указать точную дату принятия решения об образовании посёлка или номер этого документа. При разбросе даты даже в два года нужно просмотреть не менее ста дел.

Ни точной даты образования посёлка, ни номера документа я назвать не мог, потому что именно это и надеялся узнать в архивах.

По словам того же специалиста облархива в имеющемся на сегодня электронном варианте справочника административно-территориального деления Свердловской области упоминания о посёлке Чкалова как единице административно-территориального деления города Каменска-Уральского нет. Упоминается лишь о ликвидации единицы с таким названием в Бруснянском сельсовете.

Наверное, слишком поздно я решил это узнать, когда почти ушло поколение тех людей, что начинали строить наш посёлок и дали ему имя. Но я надеялся, что, может быть, всё-таки ещё найдётся человек, который это помнит, или который рассказал об этом своим близким и в их памяти сохранился его рассказ.

После первых безрезультатных попыток обращения в архивные организации у меня появилась мысль обратиться за помощью к городским краеведам, в том числе и в краеведческий музей, но не по телефону, а по приезду в Каменск.

В конце мая 2010 года я снова приехал в родной город.

После первых же моих слов, сотрудник городского Краеведческого музея имени Ивана Яковлевича Стяжкина Любовь Васильевна Зенкова минуты за полторы нашла на своём компьютере необходимую информацию.

Зафиксированное в протоколе решение исполкома города Каменска-Уральского № 38 от 25.12.1942 г. «О застройке посёлка завода № 268 и присвоении наименования посёлка имени Чкалова» в настоящее время хранится в областном архиве. Любовь Васильевна назвала номера фонда, описи и дела с этим документом: ведь именно из их музея эти документы силами их специалистов передавались в областной архив. А сколько до этого было проведено исследований по истории названий населённых пунктов, находившихся на территории нынешнего города!

Вскоре, ссылаясь на полученные конкретные данные о месте нахождения документа, я отправил письменный запрос в областной архив.

Почти две недели запрос шёл в архив. На мой телефонный звонок о сроке исполнения, специалист коротко ответила: «Месяц». Но прошёл не один месяц. Только 19 октября, когда, уходя на работу, я по привычке заглянул в почтовый ящик, то нашёл долгожданный ответ.

Конверт от нетерпения вскрыл на ходу.

Там лежали сложенные втрое два листа бумаги: сопроводительное письмо и ксерокопия Решения Исполнительного Комитета Каменск-Уральского горсовета Депутатов трудящихся № 798 от 25 декабря 1942 года «Об утверждении проекта планировки посёлка завода № 268».

Я шёл по улице и читал неровные строчки с прыгающими то вверх, то вниз буквами, отпечатанными, наверное, на выдавшей виды машинке:

«Исполком Горсовета РЕШИЛ:...»

Дальше шли пункты и подпункты принятых решением мер и мероприятий.

И, наконец, в пункте четвёртом говорилось: «Присвоить поселку завода № 268 наименование «посёлок Чкалова».

Вот они слова о присвоении имени и статуса населённого пункта – с конкретной датой, которую фактически можно считать Днём рождения посёлка!

25 декабря 1942 года.

В это время в блокадный Ленинград с Большой земли по ладожскому льду по «Дороге жизни» везли всё самое необходимое для осаждённого города, в котором промышленные предприятия, под артобстрелом и воздушными налётами, ни на час не прекращали выпуск оборонной продукции, и скоро, 18 января 1943 года, блокада будет прорвана.

...Части сил Калининского фронта вели наступательную операцию под Великими Луками, сражаясь с левым крылом группы армий «Центр» – оперативной группой «Шевалери», объединявшей девять дивизий. К 20 января 1943 года эти девять дивизий были разгромлены.

...Ещё не освобождён Смоленск, но скоро, 18 февраля 1943 года, наши войска освободят Курск.

...Сталинградская битва с 19 ноября из оборонительной фазы перешла в наступательную: контрнаступление развивалось ударами Юго-Западного и Донского фронтов...

И кто-то из наших отцов в это время вставал в бой на одном из фронтов, кто-то упорно оборонял вчера отвоёванную пядь родной земли, кого-то, тяжелораненого, увозила полторка из медсанбата в госпиталь, кто-то, чудом уцелев в жестоких сражениях, уходил со своей обескровленной людскими потерями воинской частью на переформирование...

А на безымянном до этого дня посёлке, на заводе № 268 уже вошли в эксплуатацию литейный цех, цехи переплава отходов и ремонтно-инструментальный, пусть даже с неполным комплектом оборудования.

И сам завод в апреле 1942 года тоже получил свой первый «паспорт»:

«Завод №268 является металлургическим заводом, предназначенным для производства основных материалов и заготовок для самолетостроения частично для моторных заводов. На заводе предусмотрено устройство трех основных производств: прокатного – для изготовления алюминиевых листов, прессового – для изготовления прессованных профилей, кузнечно-прессового – для производства поковок и штамповок из цветных и черных металлов»...

Завод начал обеспечивать поставку качественных слитков для дальнейшей их обработки на заводах Наркомавиапрома, Наркомцветмета, Наркомчермета.

Я держал копию «Решения»: обычный стандартный лист бумаги формата А-4.

Но у меня возникло ощущение, что и текст документа, и его дата в верхнем правом углу, одним своим прикосновением к моим рукам стёрли границу времени. И сейчас, здесь, где-то очень рядом со мной, безмерно уставшие от войны люди, определив судьбу развития посёлка на годы,

предусмотрев и строительство клуба, и детских учреждений, и не такую уж далёкую необходимость надстройки вторых этажей, встают из-за стола и уходят в холодный декабрь сорок второго.

Кто-то вернётся в цеха на заводскую площадку, кто-то – в рабочую казарму, чтобы отдохнуть перед сменой, кто-то засядет за разработку рабочего проекта застройки...

Впереди будут ещё два с половиной года войны, и будет Победа. Но каждый пункт решения, принятого 25 декабря 1942 года, тоже будет выполнен: появятся новые дома и улицы, появятся детские сад и ясли, киноклуб и станция юных техников – таким уже увидит и запомнит посёлок не одно послевоенное поколение.

2

Украина...

Может быть, такое слово было бы верным по отношению к местоположению посёлка Чкалова на пространстве, занимаемом городом.

Ведь дальше, за веткой подъездного пути, ведущей от нашего металлургического завода мимо красных отвалов шлама к станции УАЗ (Уральский алюминиевый завод), есть только небольшие посёлки «Второй рабочий» и «Силикатный», и цепочка домов, растянувшаяся около остановочных платформ от 13-го до 10-го километров.

Но это верно лишь с точки зрения планиметрии.

За прошедшие годы я проехал всю нашу страну. Не перелетел на быстрокрылых лайнерах, а именно проехал: в маршрутных автобусах и в попутках, в дальних поездах и в электричках. Проехал от западной границы Варшавского моста в Бресте до морского берега Владивостока, от посёлка Полуночное на севере Свердловской области до южной границы Узбекистана, дальше за которой уже начинался Афганистан.

Я видел белые ночи Северного Урала и бархатно-чёрные ночи юга Крыма и Средней Азии, когда за краем конуса света, падающего от ламп чайханы, не видно ни зги.

Это тоже были географические окраины страны. И опять – только географические. Потому что, как для меня наш посёлок, так и для тех, кто родился и вырос в таких далёких от нас селеньях, для каждого из нас место, где мы родились, до последнего дня жизни остаётся самым центром нашего сердца.

Однажды, в начале восьмидесятых прошлого века, возвращаясь из очередной командировки в столицу, я стал случайным свидетелем разговора двух попутчиков-москвичей.

Мы уже проехали посёлок Трубный и подъезжали к Каменскому вокзалу. Оба москвича стояли в коридоре купейного вагона у окна и один, негромко, обронил другому:

– Представляешь: даже в таком месте живут люди...

Второй, также негромко, ответил:

– Не представляю. Но ведь живут.

Наверное, им, действительно, трудно было представить, что человек не только может жить в таком месте, но и быть счастливым, и любить его так же, как они любят Москву: не за что-то, а просто как свой родной город. В нём тоже, к сожалению, много чего не так, как хотелось бы видеть, но это город, который ты никогда не сможешь оторвать его от своего сердца...

«Временные жилые сооружения...»

«**Барак** – деревянное здание лёгкой постройки, предназначенное для временного жилья»

«**Землянка** – крытое углубление в земле, вырытое для жилья, укрытия»

«Словарь русского языка». СИ. Ожегов

Из воспоминаний моих ровесников:

Любовь Чемезова (Синявская): «Мое детство прошло на посёлке Чкалова. Мы там жили до 1967 года в бараке около линии. До 3-его класса училась в школе № 7. Помню, рядом с баракom стоял большой дом. Мы всё время бегали в подъезд: очень хотелось пожить в этом доме, или хотя бы к кому-нибудь в гости зайти, но не было знакомых.

Родители мои работали на КУМЗе, мы их встречали около проходной, которая напротив аптеки. Она и сейчас там есть. Потом родители получили квартиру на УАЗе: здесь я и живу до сих пор.

У мамы подруга жила напротив молочного магазина, так я очень часто там бывала, ездила в гости к кавалерам с подругами. Потом они нас провожали пешком до «Челябинской». Ездили мы туда очень долго, пока я не вышла замуж. Вот, говорю вам, и такая ностальгия... Когда приезжаю в гости к сестре, сердце сжимается: такое все родное. А когда едем на Силикатный купаться, проезжаем мимо места, где стоял наш барак, дух захватывает: так хочется закрыть глаза и хоть на миг очутиться в том родном бараке, где живы родители и все подружки, и друзья рядом, но... Как это все далеко, только память всегда рядом. И как хочется хоть на миг вернуть то время!..»

Татьяна Григорьева (Жернакова): «Я пришла в 7 школу со второго полугодия третьего класса. Мы переехали с УАЗа и маме дали комнату в бараке № 20, который стоял первым через дорогу от столовой № 3.

У нас было две комнаты. В первой комнате жили Пустоваловы, у них был сын Серега чуть старше нас. В третьей комнате жили Сырчины, у них было несколько детей. Потом в двух комнатах жили Карсюковы. Дальше по четной стороне плохо помню. Рядом с нами в 6 комнате жили Лаптевы. С Валентиной мы до сих пор дружим. Общаемся и с тётёй Машей Лукиных, она жила рядом с Горожанцевыми. А мама всю жизнь работала в 13 цехе КУМЗа. Наш посёлок был таким маленьким, там все знали всех, или почти всех. Как, впрочем, и сейчас.

Маме дали квартиру в 1970 году. В этом году многих из баракoв начали расселять. В первую очередь тех, кто работал на КУМЗе...»

Уходит время и уносит с собой не только секунды, часы, года. Уносит дома, улицы, деревья. И там, где ещё совсем недавно они стояли и росли, ты однажды увидишь совсем другие дома, улицы и деревья.

И вдруг нестерпимо захочется снова прийти к твоему старому дому: прийти по старой улице, постоять у того клёна, что рос напротив твоего подъезда – подъезда, из которого ты ушёл в Большую жизнь...

Но нет уже туда пути.

Есть только память: единственный для каждого и не очень надёжный проводник по прошлому.

Вот с нею я и прихожу к середине пятидесятих лет.

Сразу же нужно оговориться, что к тому времени на посёлке были не только бараки, но и одноэтажные и двухэтажные кирпичные дома.

Одноэтажные – это те, на которые, в соответствии решением горисполкома от 25 декабря 1942 , планировалось надстраивать второй этаж. Внешне, с уличной стороны, они почти не отличались от бараков. Но, кроме того, что они были кирпичными, вход в комнаты у них был не из общего сквозного коридора, а из отдельного подъезда. Подъезды как бы делили дом на секции из нескольких комнат.

А «двухэтажки» строили со всеми удобствами и даже с деревянными балконами. Наша семья в пятьдесят третьем году переехала в коммунальную квартиру такого дома: пусть в маленькую комнатку, однако, в этой квартире были и кухня, и ванна, и туалет.

Но мне хочется рассказать о бараках, с которых в начале сороковых начинался посёлок, и в которых, несколько лет спустя, и для меня, и для многих моих ровесников начиналось детство.

Самыми первыми из бараков были рабочие казармы. Они, действительно, более похожи на армейские казармы: длинное помещение без межкомнатных перегородок. Только в отличие от армейского образца, в

них висели тряпичные занавеси, отделяя место проживания одной семьи от другой.

Шла война, и для людей было главное иметь тёплый угол для отдыха после тяжёлой работы под открытым небом, когда ещё не все возводимые цеха имели стены.

Строился завод, и строился посёлок.

Барак становилось всё больше и больше.

Где-то они стояли вдоль дорог, уходя вглубь кварталов, как по улице Центральной. Где-то, как по улице Школьной, стояли ровными рядами одним выходом к улице, другим – во двор. За первой шеренгой барак стояла вторая, третья...

Это были уже бараки с деревянными, обшитыми с двух сторон дранкой, перегородками между комнатами. И получить такую комнату на одну семью было непросто. Нередко заселялись в новое жильё, когда даже стены ещё не были оштукатурены, и новосёлы сами заканчивали остальное за строителей: штукатурили, красили, подгоняли двери...

Роддом, школа, магазины, первая баня, чайная напротив заводской проходной по улице Центральной – всё вначале размещалось в бараках с их теснотой и скученностью, но с их верным теплом и надёжным кровом.

А там, где сейчас на улице Западной стоит магазин «Чкаловский», проходила дорога к землянкам. Они тоже были первым домом для моих ровесников. Только в наш класс из землянок придут Вася Грехов, Саша Таланов, Оля Юферева, Слава Крюков...

Мои родители жили тогда в двух смежных комнатах вместе с дедушкой Степаном Степановичем, бабушкой Анисьей Антоновной и маминым братом Михаилом Степановичем.

В других комнатах барака жили семьи тоже не меньше нашей. Сколько всего в бараке было комнат, по исходной нумерации, не помню, но на старых семейных снимках рукой фотографа химическим карандашом написан наш первый адрес: улица Школьная, 20 барак, комната 23.

Строили бараки как можно быстрее: между деревянных щитов засыпали шлак, щиты обивали дранкой со стороны улицы и комнат, штукатурили. На утепление потолка и завалинок тоже шёл шлак. Сами комнаты располагались вдоль длинного коридора дверями друг напротив друга. И только у выходов на улицу расположение комнат было несимметричным из-за входных тамбуров, надёжно защищавших зимой коридор от холодного воздуха.

Большим семьям, занимающим две комнаты, для удобства и сохранения тепла зимой, разрешали соединять их между собой. Дверь из второй комнаты в коридор закрывали изнутри, утепляли, но убирать саму дверь и капитально заделывать стенной проём долгое время не разрешали.

К раскалённым трубам комнатных батарей зимой невозможно было прикоснуться. Поэтому детьми мы часто играли прямо в коридоре, пока родители отдыхали после ночных смен или перед работой.

Очень редко коридор был пустынным. Уже ранним утром сквозь двери из коридора доносилось: «Кому молочка домашнего, свеженького?» Через некоторое время другой женский голос спрашивал: «А кому сметанки, топлёного молочка?»

Открывались двери комнат, и кто-то покупал свежее молоко, кто-то – топлёное, кто-то – сметану. Продавцы и покупатели не только знали друг друга. Большею частью продавцы знали даже кто, сколько и чего купит, а покупатели – почём им продадут, поэтому выходили с уже заранее отсчитанными деньгами, зажатыми в одной руке, и с банкой или бидончиком в другой.

Уходили молочницы, а следом шли другие, предлагая то зерно для кур – самых частых обитательниц крохотных сараев, то свою картошку, чтобы не идти с ней через весь посёлок на базар и не стоять за прилавком в ожидании покупателя. Шли то погорельцы-горемыки с малыми детьми на руках и просили хлеба «за ради Христа», то умелицы с искусно связанными

пуховыми шалями, шла соседка к соседке занять что-то, чего не оказалось дома под рукой в эту минуту, уходили жильцы на работу в первую смену...

Целым событием был приезд старьёвщика. Его лошадь со стареньким колокольчиком под дугой и телега с ящиком, украшенным выцветшими тряпицами, были известны и детям, и взрослым.

Как только телега останавливалась, к ней уже спешили со всех сторон. Детям хотелось заполучить какие-то виденные в прошлый раз игрушки, взрослым – избавиться от пришедших в негодность старых вещей, которые всё-таки жалко выбрасывать просто так.

Старьёвщик неторопливо доставал из ящика большой ручной безмен, разновесы, также неторопливо, словно с неохотой, перебирал-просматривал предлагаемое ему тряпье, взвешивал его. Если вещь была стоящая, то прятал её в ящик, доставал из-под фуфайки деньги, отсчитывал их и отдавал бывшему хозяину этой вещи. Если принимаемый товар был так себе, то расчёт шёл необходимыми мелочами: пакетиками бельевой краски или синьки, мотками суровых ниток на дратву для подшивания обуви, особенно валенок, гребёнками и расчёсками, складными ножиками с одним лезвием и плоскими железными щётками.

А для малышни самым ценным были воздушные шарики с пищалками и без них, алюминиевые наганчики, такие крохотные, что умещались без труда даже в небольшой детской ладошке, двухцветные карандаши: красные с одной стороны и синие с другой... Старьёвщик уезжал, а обмен ножиков на наганчики, воздушных шариков с пищалками на карандаши ещё долго продолжался...

Но настоящие игрушки продавались в магазинах.

Самый ближний из них находился от нас через дорогу, на другой стороне улицы Школьной. Располагался он во втором ряду от барака на углу Школьной и Центральной, и был, наверное, одним из самых посещаемых.

В первой части барака находился сам промтоварный магазин: две соединённые комнаты, без перегородки, составляли торговый отдел с

прилавками, стеллажами товаров. Стеллажи были забиты до отказа отрезами тканей, обувными коробками, стянутыми шпагатом в узлы комплектами и зимней, и летней рабочей одежды, предметами обихода от кастрюль и вёдер до кочерёг и ухватов. Поверх всего этого разнообразия висели рядом на плечиках выходные костюмы и фуфайки, женское платье и синий комбинезон...

И, конечно, с полок и сквозь стекло прилавков на нас смотрели самые разные игрушки. Непременная деревянная лошадка-качалка стояла перед прилавком. И разве можно было пройти мимо неё, не потрогав гладкие разноцветные бока, блестящую чёрным лаком искусно вырезанную гривку?

Там продавались плоские пистолеты и револьверы с вращающимся барабаном. Соответственно и пистоны к ним были разные: отдельные бумажные квадратики или бумажные ленты, свёрнутые как серпантин. Сквозь верхний тонкий слой папиросной бумаги просвечивал коричневатый бугорок пороха. Ох, и здорово они бабахали, оставляя после выстрела настоящий запах сгоревшего пороха!

А как манили наши взгляды сабли и кортики в ножнах с покрытыми бронзовой краской накладками! Пусть их клинки были алюминиевыми, но сами игрушки по форме почти ни отличались от своих грозных оригиналов...

В этом же бараке, через стенку от магазина находилась столовая № 3, где между столами, всегда с неутомимой сердечностью, сновала официантка Фая. Неизвестно как, но она успевала не только вовремя подать заказываемые блюда всем посетителям, но ещё и найти для каждого ласковое слово. А вот самой с лаской не везло: кажется, наконец, нашла уже самого дорогого, желанного. Ан, нет: отъестся он на Фаиных харчах, приоденется франтом за её счёт – и только его и видели...

А на следующее утро, Фая, с той же сердечностью и ласковостью будет разговаривать с посетителями, такими же белоснежными будут её косынка на иссиня-чёрных волосах и фартук с кружевными краями... Вот только припухшие глаза скажут внимательному взгляду о ночных слезах и

страданиях этой женщины, всегда готовой прийти на помощь другим. И слушая её голос с таким знакомым пришепётыванием на согласных, такие привычные от неё слова: «Сейчас, миленький! Сейчас тебя накормлю!», поневоле всплывала мысль: «Ну, почему же ей так не везёт?..»

К другой стене столовой примыкал спортзал, в котором чаще всего почему-то мы видели тренировки боксёров. Их тренер не прогонял нас, когда мы группками по два-три человека садились на завалинку у окон и с неотрывным интересом, подолгу, смотрели, как проходили разминка, отработка ударов, спарринги ... Тренер, наверное, нарочно не прогонял нас. Может быть, он надеялся, что у кого-то из мальчишек, постоянно торчащих у окна спортзала, любопытство однажды перерастёт в желание самому прийти в зал и сказать:

– Я тоже хочу стать боксёром!..

А заканчивался барак совершенно неожиданным соседством спортзала с небольшой чайной. Вход в неё был с северного торца строения. Само помещение чайной было крохотным: буфетная стойка с примыкающей к ней огромной пивной бочкой с торчащей из неё трубой с краном и три-четыре высоких столика для посетителей. Но заказывал ли там кто-нибудь чай – не знаю.

Рядом с баракom высились земляные валы, внутри которых находились ледники третьей столовой. Единственный вход у подножия вала был тщательно утеплён и обвешан замками.

Зимой эти валы были одним из самых любимых мест для игры. С них можно было кататься на лыжах, на санках, бороться на краю склона друг с другом, пока, чуть только оступись, не скатишься вниз вместе со своим «противником»... А летом там можно было играть в прятки, в войну, пробираясь ползком к вершине, и неожиданно скатываться на «часового», брать его «в плен»...

Школьной и Центральной, вместе с моей памятью, я пойду к заводской проходной.

Завод в то время все называли «Почтовый четыре», опуская слово «ящик». До перекрёстка Школьной и Центральной заводская стена тогда ещё не дошла. Там было поле с высокой зелёной травой. В глубине поля стоял чей-то одноэтажный бревенчатый дом. Брёвна издали казались тёмно-коричневыми. На поле всегда паслось немного коров и лошадей, и кто-нибудь косил траву, а после набивал ею принесённые мешки.

Как раз напротив проходной завода, через дорогу, находилась настоящая чайная: с буфетом, с большим столовым залом, с обязательным огромным фикусом и большой коновязью на улице. Снег, грязь или трава по сезону около коновязи всегда были усыпаны жёлтой соломенной трухой и клочками сена.

А перпендикулярно к чайной стоял барак, в котором располагался продовольственный магазин. Он ещё не переехал в двухэтажный дом № 4 по улице «4-й Проезд» и его пока не называли «Второй магазин». В доме № 4 находился магазин промышленных товаров: ткани, платья, пальто, меха. Да, да. Там висели каракулевые шкуры, шкуры рыжих и черно-бурых лисиц – даже в то трудное время спрос на них был: женщины всегда хотели и хотят быть красиво одетыми...

Так вот, вдоль продовольственного магазина, как вдоль каждого барака, стояли сараи, в которых хранилось необходимое торговое и подсобное оборудование. В том числе там стояли и кислородные баллоны. И однажды среди летней ночи, по-моему, 1956 года, на весь посёлок прогрехотал взрыв. Никто пока не знал, что случилось, но первой мыслью у многих, как потом рассказывали друг другу, была мысль: «На заводе?..»

По чьему недосмотру взорвались баллоны, что в действительности стало причиной ЧП – едва ли кто сейчас помнит это. Но в каком радиусе взрывной волной выбило стёкла из окон, кому среди ночи они посыпались в комнату и даже на кровать – это помнили долго.

А злополучный сарай стоял примерно там, где сейчас стоит дом № 28 по улице Центральной.

Если бы во время воображаемой прогулки в пятидесятых, я повернул бы налево и пошёл по улице «4-й Проезд» до её пересечения с улицей Западной, то уже издали бы услышал необыкновенный аромат свежих пряников.

На этом углу, на противоположной стороне улицы Западной, где теперь стоит пятиэтажка с филиалом «Сбербанка», находился цех городской кондитерской фабрики. И от вкусных запахов, заполнявших прилегающие улицы, даже у сытого человека появлялось желание «перекусить чего-нибудь такого...»

3

Вдоль чётной стороны улицы Западной, если идти к её началу, в сторону рынка, стояли три барака. В одном из них находилась часть классов школы рабочей молодёжи, ШРМ, как её называли тогда. Мой отец учился там в десятом классе. Иногда, когда мама дежурила в больнице, и меня не с кем было оставить, он брал меня с собой на занятия, усаживая рядом. Из всех уроков мне больше всего нравилась литература: наверное, потому что она была более доступна для понимания пятилетнего мальчишки.

Вела занятия Елена Михайловна Масленникова: педагог, влюблённый в свой предмет. Непросто было убедить взрослых людей, прошедших войну, занятых на физически тяжёлом производстве (металлургия никогда не была лёгким делом), что уроки литературы для них не менее важны, чем изучение технологии металлов. Не знаю, насколько ей это удалось, но слушали её на уроках всегда почти с детским интересом, и, конечно, как в любой школе, не любили вызовов к доске.

Почему-то мне особенно запомнился урок о творчестве Михаила Васильевича Ломоносова. Нужно было рассказать наизусть отрывок из «Оды на день восшествия на Всероссийский престол Её Величества Государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Это сейчас я полностью

привожу название оды по одной из своих самых любимых поэтических антологий Ленинградского госуниверситета. А на уроке её называли просто «Одой на восшествие».

Ещё перед уроком к отцу подошли два его одноклассника и попросили:

– Сашка! Выручай! Ты выучил? Немного? Вот и подучи, пока она рассказывать будет. У тебя память хорошая, успеешь.

Но Елена Михайловна не стала давать новый материал. Открыв журнал, она подняла взгляд на класс, и потому, как все нарочито старательно уткнулись в учебник, сразу всё поняла.

– Повторяем выученный отрывок? Прекрасно. Кто же хочет к доске? Так. Ни одной руки. Что ж, тогда выйдет...

Во время возникшей паузы кто-то за папиной спиной тихо прошептал:

– Саша! Давай!

Папа поднял руку и спросил:

– Можно мне?

Елена Михайловна отложила ручку:

– Готовы? Читайте.

Папа, как тогда говорили «с выражением», прочитал отрывок. Мне казалось, что он заговорил на незнакомом языке, в котором я понимал только отдельные слова.

– Садитесь. Отлично. Кто объяснит: зачем Ломоносов написал эту оду? Что он хотел ею сказать?

И снова Елена Михайловна подняла взгляд на класс.

– Что тут объяснять? – раздался чей-то голос с задних парт. – Перед царицей хорошеньким себя показать хотел.

Елена Михайловна встала:

– Серьёзный упрёк. Но, товарищи, такое «напутствие», не понравься оно Елизавете, могло дорого стоить поэту. Как может какой-то даже даровитый смерд поучать дочь Петра Великого? Ломоносов это ясно понимал. И его оду можно назвать мужественным гражданским поступком.

– Я прожила достаточно много лет, много повидала и многих авторов почитала. Не каждая эпоха может представить пример такого мужества. Из вас многие прошли войну, и, наверное, сами, мне, уже немолодой женщине, можете ответить: в бой встают все, как один, или всегда есть кто-то первый?

В классе было тихо-тихо.

Тут Елена Михайловна серьёзно посмотрела на меня:

– Вы, молодой человек, это тоже запомните.

От того ли, что со мной впервые говорили как с взрослым на «Вы» и назвали «молодым человеком», или от того, что за её словами скрывался какой-то более глубокий, более важный смысл, понятный старшим и совсем непонятный детскому разуму, но я действительно запомнил тот урок.

Елена Михайловна жила в соседнем дворе. Часто я её видел возвращающейся с уроков с сумкой в одной руке и с неизменной стопкой тетрадей, прижимаемой другой рукой к груди. Я здоровался с ней, и ждал, что однажды она меня спросит:

– Ну, молодой человек, поняли то, что я Вас просила запомнить?

В ответ я мог бы только сказать:

– Запомнил, но ещё не понял.

Но она не спрашивала, а на моё «Здравствуйте!», отвечала также доброжелательно, как всем детям и взрослым.

Через несколько лет, когда я пошёл в третий класс, мы, временно, до переезда в новую четырёхэтажную школу, одну четверть учились в том самом бараке, где была ШРМ.

И первые дни, когда я утром открывал дверь в свой класс, никак не мог отделаться от впечатления, что ошибся, попал не туда. Странно было видеть вместо прежних привычных высоких столов и скамеек наши небольшие светлые парты: словно каждый день кто-то неизвестный показывал мне один и тот же фокус, а я, хотя и знал заранее, чем он кончится, но втайне надеялся – а вдруг?..

У каждого барака, как и у каждой семьи – своя история, многие из

которых остались сегодня лишь в памяти самих жильцов, и, скорее всего, уйдут вместе с их памятью. А, может быть, кто-то успел рассказать своим детям о послевоенном житье-бытье, и эти рассказы запали уже к ним в душу и когда-нибудь тоже прорастут повестьями-воспоминаниями, ценными именно документальной основой...

4

А ещё мне хотелось бы, в рамках этой же главы, вспомнить о двух одноэтажных домах.

Первый из них стоял вдоль улицы «3-й проезд». В левой его половине находилось 4-е отделение милиции, в правой – почтовое отделение. Их входные двери были обращены к уличной стороне, и к каждой вело высокое крыльцо. И у милиции, и у почты даже в небольшом посёлке всегда много работы.

Около крыльца «4-го отделения» почти всегда стояли чьи-то велосипеды или мотоциклы, изредка – грузовые машины, рядом с ними кто-нибудь торопливо курил, облокотившись на перила, а разные люди входили и выходили из милиции.

Если внимательно всмотреться в стоявшие велосипеды и мотоциклы, то можно было бы заметить одну общую для них деталь: отсутствие государственных номерных знаков. Да, да. На право управления велосипедом, выезжающим на автомобильные дороги, тоже нужно было вначале сдать экзамен, получить «корочки», и ездить, соблюдая не только предписанные правила движения, но и иметь в наличии, на велосипедной раме, исправные насос со шлангом и подсумок с инструментами и небольшой коробочкой велоаптечки. А под седлом велосипеда крепился госномер, который в любую погоду должен был быть чистым.

У грубо нарушившего правила движения сотрудник ОРУДа (отдела по регулированию уличного движения, существовавшего одновременно с ГАИ) в отделении милиции снимал номер, выкручивал ниппели из обеих камер колёс и забирал права до повторной сдачи экзамена.

А когда в тёплую погоду открывалась танцплощадка, находившаяся через дорогу, рядом со старым двухэтажным клубом, работы сотрудникам милиции добавлялось.

Как только, по взмаху дирижёрской палочки перед духовым оркестром, из раковины эстрады выплывали первые звуки вальса, поляна вокруг обнесённой высоким решётчатым забором веранды стремительно начинала наполняться людьми всех возрастов: от пяти-шестилетних детей из соседних двухэтажек, до пенсионеров, прервавших ненадолго вечернюю прогулку. Те, кто уже купили билеты на танцы, предъявляли их контролёрам, стоявшим по обеим сторонам входа, а кто хотел потанцевать «бесплатно», торчали у деревянной решётки забора в надежде увидеть знакомого и попросить у него на время билет с оторванным контролем. По такому билету можно было попытаться пройти лишь после того, как заядлые курильщики, протанцевав пару танцев, заспешат выйти покурить. Постоянные контролёры знали почти всех танцующих в лицо, поэтому, когда кто-то другой вдруг пытался пройти по билету с оторванным контролем, заявляя, что выходил покурить, они пропускали его, отлично зная такие хитрости. Главное – в руках у него есть билет, а сами они всё равно «сидят на окладе».

С теми же первыми звуками вальса, с крыльца «4-го отделения» спускались и шли к танцплощадке молодые крепкие парни. На их красных нарукавных повязках золотились бронзовой краской заглавные буквы «БСМ» – бригада содействия милиции. Работали они под руководством милиции, а не местных властей, поэтому неподчинение им значило неподчинение милиции.

Они строго следили за общественным порядком, а когда возникали конфликты, грозящие перерасти в драку, пресекали их. Нетрезвым сразу же предлагали удалиться. Редко дело доходило до задержания и доставки в милицию: чаще всего это случалось с кем-то из «залётных», приехавших из другой части города и пытавшихся не уронить «авторитет» своего посёлка.

Когда с киноэкранов Людмила Гурченко в «Карнавальная ночь»

пропела одну из песен своей героини, то местные остряки тут же переделали её применительно к задержаниям поселковой милицией:

Если в ресторане, с пьяною ухмылкой,
Врежут Вам бутылкой в солнечный денёк,
Не хватайтесь сразу за ножи и вилки:
Тут же прилетит за Вами «Чёрный воронок»
И улыбка, без сомненья,
Пропадёт из ваших глаз,
И в «Четвёртое отделение»
«Спецтакси» доставит вас.

«Спецтакси» «Четвёртого отделения», машина с зарешёченным кузовом, выкрашенная в иссиня-чёрный цвет и прозванная за то, как и по всей стране, «чёрным воронком», умело появляться в нужном месте в нужное время, хотя уличных телефонов-автоматов вблизи практически не было.

Одним из сотрудников «4-го отделения», был Юров. Имени его я не помню. Мы знали, что он отец нашего одноклассника Юры, и так и запомнили его как Юркиного папу. Их семья жила в бараке около больницы. Другие сотрудники приезжали в отделение только на дежурство.

Многие из старожилов посёлка, наверное, помнят преданность Юрова своему делу и отвагу, порой до безрассудства, с которой он, в одиночку, бросался в гущу дерущихся камнями и палками пьяных.

Однажды нам пришлось стать нечаянными свидетелями запомнившегося навсегда случая.

В тот летний вечер родители были на работе, а я ушёл к дедушке с бабушкой. Мы играли в «войну» в сараях, стоявших между 19 и 20 бараками на Школьной улице. Взрослые, сидя на вынесенных из дому табуретках вокруг небольшого столика, ничуть не менее азартно, играли в лото. Женщины, спрятавшись в тень на завалинке под стеной барака, говорили о чём-то. И вдруг откуда-то прошелестело: «Драться будут! На ножах!»

Все сразу вскочили, забыв про лото и разговоры. Женщины начали звать своих детей домой, но мы, тут же, забрались на крыши сараев, и, замирая от страха и любопытства, стали ждать: что же будет дальше?

Тут из 19 барака вышел мужчина лет сорока с ножом в руках. Мы знали, что он на днях вернулся из тюрьмы. Мужчина подошёл к одному из открытых окон барака и негромко сказал:

– Ну, выходи, гад!

Скоро, с другой стороны барака, какой-то нетвёрдой походкой, вышел другой жилец барака, тоже совсем недавно освободившийся.

Первый мужчина сам нарисовал ножом на земле круг, диаметром не больше трёх метров и вышел из него. Потом посмотрел на второго и что-то тихо сказал.

Они вошли в круг, встали в центре, скрестили ножи, а потом сразу же отпрыгнули друг от друга.

Всё произошло молниеносно. Первый мужчина тут же метнулся вперёд и ножом в правой руке резко ударил противника в живот.

Видимо, удар был страшным и точным: раненый на глазах побелел и начал медленно падать – сначала на колени, а потом на правый бок. Его выцветшая голубая майка сразу же потемнела от крови.

Ударивший постоял над ним, потом сам зашатался и такой же нетвёрдой походкой, спиной отступил к завалинке и сел на неё, не выпуская окровавленного ножа.

– Всё, – глухо обронил он. – Опять за решётку.

Наверное, ещё до начала драки, кто-то добежал до проходной завода и позвонил оттуда и в милицию, и в больницу, потому что не прошло и трёх минут после окончания драки, как с подножки подъехавшей к бараку грузовой машины соскочил Юров – без кителя, в одной майке и галифе, и почему-то босиком. Он подошёл к сидящему преступнику и протянул руку:

– Отдай нож. Следуй за мной.

Тот, сидя, отдал нож, поднялся, глядя на милиционера. И, может быть,

лишь в этот момент, осознав, что он сделал и что его ждёт опять, дико и страшно закричал:

– Ааааа!...

– За мной, я сказал! – ещё раз приказал милиционер, и они пошли к той грузовой машине, на которой он приехал.

Прибывшая следом за милиционером медсестра с носилками, подошла к раненому, наклонилась и прижала пальцы к его шее, Потом выпрямилась:

– Уже ничем не помочь. Мужчины, помогите положить его на носилки.

Подняв голову, она увидела нас.

– Почему здесь дети? – почти закричала она.

Мы ссыпались с крыши и стремглав припустили вглубь барачков, думая, что нас тоже сейчас заберут в милицию.

Никто за нами не побежал, никто не забрал, только забыть увиденного мы не могли. Но, не сговариваясь, никто из нас не рассказал родителям, как неожиданно закончилась наша игра в тот вечер.

Потом, из разговоров старших, мы услышали, что, когда Юрова спросили, чего же он босиком-то примчался задерживать, тот вначале отшутился:

– Чтобы нежарко было.

И улыбнувшись, добавил:

– Да я дома после дежурства спать лёг, когда из больницы прибежали с криком «Убивают!». Нового дежурного, как на грех, к начальству вызвали. Когда одеваться? В галифе запрыгнул, ноги – в тапки, и – ловить попутку.

И ещё шире улыбнувшись, закончил:

– А тапки потерял где-то.

Общий хохот был ему ответом.

И о втором доме, памятном, наверное, для многих жителей посёлка, хотелось бы вспомнить.

Он по-прежнему стоит на своём месте, и у него тот же самый адрес: Западная, 11.

Сейчас в нём находится магазин стройматериалов, а раньше этот барак назывался «Станция юных техников».

Входные двери у него были со двора. Одна вела в детскую библиотеку, другая – в технические кружки: авиамодельный, фото, автомотодела. В библиотеку записывали с первого класса, а в кружки – с разграничением по возрасту.

Едва научившись читать, мы пришли записываться.

Библиотекарем оказался мужчина: худощавый, невысокий, немного выше нас, с чёрными-чёрными волосами, подстриженными под полубокс. На смуглой коже лица чернели несколько родинок. Он был похож на постаревшего как-то сразу мальчишку, который ещё не поверил в это и остался таким же по-мальчишески задорным.

Заполняя формуляр новому читателю, он расспрашивал его:

– Ты действительно любишь читать или в школе велели записаться? У нас строго: книгу выдаём на две недели, а потом нужно прийти продлить срок. Но лучше, если ты будешь укладываться в отведённые дни, потому что книг пока немного, а спрашивают одни и те же, что по программе задают. Вот, посмотри какие у меня большие списки очередей на них...

Он показывал толстую общую тетрадь. Фамилии тех, кто уже получили желанную книгу, были аккуратно, по линейке, зачёркнуты карандашом.

И обязательно добавлял:

– Ты уже подумал, где будешь книжку хранить? Её нужно беречь как живую.

Вначале, когда мы ещё только учились читать, нашими первыми книгами были чаще всего короткие сказки с красочно оформленными страницами, на которых рисунков было больше чем текста, а буквы – размером с крупную горошину. Прочитывали их быстро, а потом начинали читать снова, подолгу рассматривая каждую иллюстрацию, или как мы

говорили «картинку».

Встречаясь по дороге в библиотеку, показывали друг другу, какие книжки несём. Если одному из нас нравилась книжка другого, и он ещё не читал её, то заранее договаривались о просьбе к библиотекарю переписать книгу на своего попутчика.

Почему-то все в первую очередь спешили просмотреть лежавшую в левом углу стола стопку только что сданных книг, словно в ней одной таились самые интересные рассказы, повести. Стоявшие на полках издания, наверное, тоже были хорошими, но раз их не выбрали раньше, значит, их можно будет взять потом, когда прочитаешь вот эту – сразу понравившуюся тебе...

Библиотекарь знал об этой нашей привычке. Тех, кто у него не интересовался другими книгами, он спрашивал:

– А вот такую почитать не хочешь?

И доставал её со стеллажа у себя за спиной:

– Ты почитай, почитай. А потом мне скажешь: понравилась или нет.

Может быть, он умел подбирать книги, может быть, для детской библиотеки действительно выделяли только лучшие из них, а, может, нам всё было интересно, но очень редко мы оставались равнодушными к прочитанному.

Самыми любимыми были, конечно, книги из серий «Русские народные сказки», «Детская художественная литература», «Детская энциклопедия» – дорогие издания в твёрдых тиснёных переплётках, со стилизованным красным или бронзовым орнаментом по периметру обложки и огромными, во всю страницу, иллюстрациями. И, конечно – книги о войне: дети и внуки тех, кто прошли сквозь страшное горнило невыразимых человеческих страданий и утрат, мы с жадностью читали о ней и художественные, и документальные строки, дышавшие гневом и сердечной болью.

Для нас скорее было бы удивительным встретить человека, не опалённого войной. Палочку, постоянно стоявшую у стола библиотекаря, все

уже давно заметили. А скоро, из разговоров старших, узнали о его военном прошлом: танкист, во время одного из боёв был тяжело ранен, в госпитале, чтобы спасти его, врачам пришлось ампутировать ему ногу.

Прошли годы.

Я помнил о библиотекаре, как о человеке, который более шести лет вёл нас по стране Родная Литература.

Как он, вписывая в формуляр выбранные книги, негромко ронял:

– Три таких больших – на две недели? Это не многовато? Не в ущерб учёбе? Классику не читают по диагонали.

Как вдруг однажды, принимая прочитанные тома, неожиданно, сам заявил:

– У нас хорошая библиотека. Но вы уже выросли из неё. Пора переходить в заводскую.

Лет двадцать назад, в разговоре с одним из друзей детства, я спросил его о библиотекаре.

Услышанное не укладывалось в сознании:

– Его убил сын-алкоголик по наущению дружков: раз инвалид войны, значит пенсия большая. Ходить не может – значит, дома спрятал. Поищи получше.

Денег сын не нашёл, обозлился – и убил.

Человек, который прошёл войну и чудом остался жив после тяжёлого ранения, убит своим сыном?

Так бережно относившийся к чужим детям, никак не мог он в небрежении растить родного сына. Почему же сын вырос отцеубийцей?

Я попытался вспомнить имя библиотекаря – и не смог. И друг мой тоже не смог.

Иногда самоуверенность очень подводит нас. Тогда, в детстве, мы очень обиделись бы на человека, который сказал бы нам о том, что лет через десять – пятнадцать в нашей памяти не останется имени нашего библиотекаря.

Бесконечные каждодневные заботы без спросу, безжалостно и исподволь, вычёркивают из памяти, отложенные ею до поры-до времени воспоминания о важных, но уже далёких событиях, эпизодах.

Ужас от страшной новости отодвинул на второй план желание разыскать тех, кто помнит имя погибшего.

И снова прошли годы.

И сегодня, когда я дошёл до этих строк, с горьким стыдом признаюсь: так и не нашёл времени узнать, как же звали человека, которого, без сомнения, многие тоже могут назвать своим Учителем.

Человек не может быть без имени. Память одного человека может его потерять, но чтобы забыли все – такого не бывает.

Я кинулся к телефону: кого-то не было дома, кто-то уехал по делам.

И, наконец, услышал от Людмилы Анатольевны Гусевой, заведующей филиалом № 17 Каменск-Уральской городской библиотеки, забытое имя:

– Потапов Александр Алексеевич.

Он действительно был её Учителем в библиотечном деле до ухода на пенсию в 1981 году.

И, без сомнения, Александр Анатольевич Потапов достоин того, чтобы снова зазвучало его имя – имя Воина, имя Учителя, имя Библиотекаря.

Следуя его совету, мы стали брать книги из «взрослой» заводской библиотеки: вначале по читательским билетам родителей, а с шестнадцати лет – уже по своим.

И снова нас встретили с тем же вниманием и заботой.

Может быть, нам везло, а может библиотекарями, учителями, медиками становятся люди особого склада души, заведомо знающие, что на этом пути их не ждут золотые горы, но для которых выбранное ими дело значит неизмеримо больше...

Поклон им и огромное спасибо за всё, в чём они помогают нам!

Вот и подошла к концу глава о бараках.

Их почти не осталось уже. Там, где тянулись они цепочкой, поднялись

вначале двух-, а потом пятиэтажные дома. Во многом по-другому выглядит сегодня посёлок. И уже потемнел и осыпался местами кирпич на домах-ровесниках нашего детства. Нет давно старого клуба, построенного в военные годы, а есть новый Дворец культуры «Металлург».

Но остались люди, которые помнят и свои бараки, и постаревшие дома, в которых они когда-то жили, и старый клуб.

И осталась людская память и о бараках, и о первых, ещё коммунальных, квартирах, и о том послевоенном времени, к которому эта память или души наши приросли так, что до последнего мгновения жизни не оторвать...

И хочется начать рассказ о домах, в которых мы жили, о нашей школе № 7, о наших клубе и стадионе.

5

Но переходя к другому рассказу, нельзя не вспомнить о сараях. Трудно даже представить себе как эти нехитрые строения выручали людей в то послевоенное время.

Они стояли между бараками, вдоль всей их длины: потемневшие от дождей и снега дощатые копии человеческого жилья – сколько комнат в бараке, столько дверей в сарае. Каждая дверь сарая находилась напротив окна жильца-владельца этой части сарая.

У барачков, расположенных вдоль дорог, сараи с наружной стороны стояли между ними и дорогой. Сараи же, находившиеся между соседними бараками, примыкали друг к другу задними стенами.

В кварталах с первыми двухэтажными домами сараи выглядели совсем по-другому: когда вы входили в такой двор, то в глаза бросалось некое подобие кирпичной крепости с глухими стенами по её длине и с двумя сквозными высокими арками на торцевых сторонах. Внутри этого сооружения находилось четыре ряда сараев. Два крайних ряда примыкали к кирпичным стенам, у двух внутренних рядов задняя стена была общей.

Крохотные по размерам, они, однако, вмещали в себя нехитрый сезонный скарб, которому не место в комнатах: лопаты, велосипеды, рыболовные снасти... Запасы дров или угля для кухонных печек тоже выносили в сараи, а в тёплое время кто-то ухитрялся держать в них кур.

Каких трудов стоило вырастить купленных на базаре или привезённых от родственников из деревни цыплят!

Внутри сарая для них ставили крепкую клетку, которая была не по зубам даже крысам: как без них, если хотя бы у кого-то хранилась картошка или ещё что-нибудь съедобное.

Перед тем, как вынести цыплят на улицу, хозяйки ограждали выбранное место рамами с густой металлической сеткой, а чаще всего – с марлей. Сами же, вооружившись длинным прутом от дворовых кошек, усаживались на маленьких скамеечках рядом с крошечным «птичьим двором». Кошки с ума сходили от цыплячьего писка, но, отведав хотя бы раз хозяйского прута, становились очень осторожными. В чью пользу был окончательный счёт, сейчас не узнаешь, но, наверное, всё-таки в пользу хозяев: иначе они не начинали бы заново каждую весну хлопотливую «птичью эпопею».

Иногда, по договорённости, соседу уступали свою клетушку, и тот, присоединив её, а то и клетушку второго соседа с другой стороны, уже мог разместить на новом пространстве что-нибудь крупное: например, мотоцикл, если обладал такой редкой по тем временам техникой.

Но около одноэтажных домов сараи, наверное, были просторнее, потому что в них держали даже свиней и коров. И если по «своим» мы во время игр носились беспрепятственно, почти не мешая никому, то около этих сараев, как нам казалось, постоянно кто-то что-то делал, или возился с живностью. Да и стояли они близко к дому, и наши воинственные крики (разве где-нибудь дети играют тихо в «войну»?) мешали взрослым отдыхать после смены или перед работой.

Потом, когда в начале шестидесятых начнут расти «самстроевские» восьми- и шестнадцатиквартирные двухэтажные дома, снова появятся общие, на несколько домов, сараи с единым наружным кирпичным периметром. Вход в секцию каждого дома в них будет иметь дверь, а пожарным выходом вместо двери будет окно, закрывавшееся деревянной ставней. Каждый сарай тоже будет небольшим по размеру, но в нём хозяин, при желании, мог уже выкопать яму для хранения овощей.

А для нас, к тому времени школьников средних классов, они станут местом одной из любимых вечерних игр в прятки с фонариками.

Суть её точно такая же, как и обыкновенных прятков. Но при этом водящий оставался на улице, а остальные прятались в секциях сараев, у которых закрывали и входную дверь, и ставню на окне, поэтому в секции становилось довольно темно. Включать лампочки освещения или свой фонарик водящему по правилам запрещалось. И когда он, открывал наугад дверь секции и входил в неё с дневного света, то, конечно, ничего сразу разглядеть не мог. Мало того: как только водящий входил, ему в глаза ударял свет нескольких фонариков: отечественных – с плоскими батарейками, простым стеклом и отличным отражателем, немецких «дайманов» – тоже с плоскими батарейками, но – с увеличительным стеклом, круглых китайских (тогда – великолепного качества) на трёх батарейках. Все фонарики заранее регулировались на точечный пучок, поэтому световой «залп» получался сильным. Конечно, водящий представлял, что его ждёт, и заслонял ладонью глаза. В это время ему нужно было узнать кого-нибудь из прячущихся игроков, выкликнуть его имя, и бежать назад к «кону» на улице, где хлопком ладони по стене закрепить свою победу.

Темп игры был очень быстрым и минут сорок – пятьдесят нам хватало наиграться, но зато, какие это были минуты!..

Сараи исчезли где-то в начале девяностых: и от ветхости, и от пожаров, и от пришедших им на смену гаражей. Но мне кажется, что сараи

тоже заслужили добрую память от людей, которым с послевоенных лет они были безмолвными незаменимыми помощниками!..

ПОРА ПОСЛЕВОЕННАЯ

Пролог

А где-то ждали нас дороги,
Врывался свежестью сквозняк,
Плыл над землёю месяц строгий
И утомлённый спал барак.

Сирень вовсю благоухала,
Роняли звёзды небеса,
Рассветы вспыхивали ало,
Вскипала на траве роса.

Вставали павшие в атаки,
Ночной покой живых храня...
В послевоенном том бараке
Жизнь начиналась для меня.

С тех пор со мною неделимы
Барак послевоенных лет,
Россия – отчий край любимый
И детства алый тот рассвет.

1

Шестнадцать комнат с каждой стороны
Вдоль длинного сквозного коридора:
Построенный на третий год войны
Барак – мой первый в жизни дом, с которым

Я связан неразрывно, навсегда –
Не детством, а всей памятью своею.
Из всех разлук я прихожу сюда,
Где он стоял – и места нет роднее

На всей Земле среди прекрасных мест
С их дивными чужими чудесами.
Одно богатство я сочту за честь:
Родство с послевоенными годами.

2

Пора послевоенная – с бараками:
За счастье – комнатёнка для семьи,
Пусть стены в ней пока обиты дранкою,
А штукатурить их – жильцам самим.

В бараках магазины и столовая,
Роддом и школа – трудный скромный быт.
Для многих даже родина здесь новая:
В войну с заводом в тыл пришлось отбыть.

Что ни семья, то – фронтовик: кто – раненый,
Кто – инвалид; над койкой – снимки в ряд
Родных мужчин – с надеждой-ожиданием:
А, может, жив кто и придёт назад?..

Как ближе к лету – разговоры страшные:
«По всем приметам – быть войне опять!»
По праздникам – столы с закуской вскладчину
И с бражкой: гулять – так уж гулять!

В разгар весёлой пляски с хлестким хлопаньем
По голенищам да под свист лихой,
Вдруг женский крик: «Ой, где ты сгинул, сокол мой!..»
Плеснётся обжигающей тоской...

3

А отпуск – обязательно с поездками
К родным в свой отчий довоенный дом:
В «пятьсот веселых» – с битвой за билетами,
С вагонами, набитыми битком,

Насквозь в пыли от дыма паровозного,
Четыре дня пути в один конец,
С знакомствами – простыми и серьёзными:
«Где воевал?», «Где ранен был, боец?»

Рязанские, тамбовские и курские

– Смешала вас военная метель! –
До боли в сердце – все родные, русские,
Уральские, сибирские теперь,

В другой земле схоронят ваши косточки,
Вдали от дорогих душе краёв.
Но до последних дней, последней ночечки,
Вы пронесёте к ним свою любовь...

4

Пора послевоенная – особая:
Хоть тень и след войны лежит на всём,
Под свист мальчишек птицы мира голуби
С утра взмывают в выси окаём.

Овчарки – на военной регистрации,
Госномер нужен на велосипед,
Но в клубе – вечера с оркестром, с танцами,
И модницы оделись в креп-жоржет.

В квартирах с теснотой коммунальной
Проходим поздним есть всегда ночлег,
Полным-полны столовые и чайные,
Но много инвалидов и калек.

Любой и день, и час – такие яркие,
И жизнь, как будто, началась с нуля:
С фундаментов домов, дорожек парковых,
Разбитых в выходной на пустырях.

Пора послевоенная – нелёгкая:
Куда ни глянь – на всем войны следы,
Как детство – недоступное, далёкое,
Мне с каждым годом все дороже ты!

** ** **

Дома в те годы строили войска.
Крушил лачуги лихо танк без башни.
Война для всех была еще близка,
Жила во всём в своем соседстве страшном.

Через поселок наш ходил стройбат:
От стройки – до ворот их Энской части,
А мы слетались стайкою галчат,
Со строем рядом шли, сияя счастьем.

Шли гордо дошколята-пацаны,
Рождённые в бараках, в коммуналках,
Шли как на самый главный бой войны,
Прижав к плечам оструганные палки.

Под песню взвода, перестроив шаг,
И, не жалея стареньких сандалий,
Шли в бой, где ждал нас ненавистный враг
На той войне, которой мы не знали.

Но знали точно: чей отец убит,
Чей – инвалид и чей кричит ночами
Как будто в танке до сих пор горит,
Сбивая пламя голыми руками.

И жгла обида как своя вина:
Нам слишком поздно выпало родиться.
Но если вновь обрушится война,
То отомстим за всё проклятым фрицам!

УГОЛ ШКОЛЬНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ

Угол Школьной и Центральной –
Там душа моя живёт.
То с улыбкой, то печально
С давних пор к себе зовёт

В тот барак послевоенный
– Неказистый и родной –
С дружной песней неременной
В летний вечер выходной,

С разговором тихим, ладным
На завалинках у стен
В платьях праздничных нарядных,
С ребятнёю у колен.

Пусть мужья в лото играют
По копейке с носа – кон.
То гармонь – с другого края,
То из окон – патефон.

Мягкий сумрак лёг, не тает,
С бледным отсветом закат,
Звёзды выпорхнули стаей,
То горят, то не горят.

Завтра снова на работу.
Сны кружатся от стены.
А на стенах – в рамках – фото,
Не вернувшихся с войны.

В каждой комнате над койкой
На стене портрет родной.
Память – горькая настойка

В летний вечер выходной.

В сны вплывут с привычной болью
Голоса из тишины
– вдоль Центральной и вдоль Школьной –
Всех, кто не пришёл с войны...

СКРИПКА ЧУКАЯ

Рассказ

Вечером, возвращаясь домой, на чьей-то лестничной площадке я услышал звуки скрипки.

Кто-то неровно и не очень уверенно водил смычком по струнам. И от этой неровности, неуверенности мелодия, сама по себе немного грустная, звучала по-особому искренне.

Она тревожила память, побуждая вспомнить что-то очень давнее и очень-очень знакомое.

И вспомнилось...

Тогда, в середине пятидесятых, подъезды нашего дома мыла старая, по представлениям пяти-шестилетних пацанов, женщина. Но звали ее все просто Люба.

Каждое утро она появлялась откуда-то в чёрной плюшевой жакетке или, по времени года, каком-нибудь платье – слишком заношенных и слишком свободных для вещей со своего плеча, в линялом платке, выдавших виды резиновых ботах и с неизменным ведром на левой руке.

Её высокая, худая, сутулая фигура с наклонённой головой узнавалась издалека. С виновато-грустной улыбкой входила Люба в подъезд. Мягким мелодичным голосом ласково откликалась на приветствия жильцов.

Пока ей набирали воду в ведро, она стояла, прислонившись к косяку квартирной двери. Сама дверь почти не закрывалась: в трехкомнатной

коммуналке жили четверо взрослых и девять детей, да ещё шли гости к ним... Казалось, что в коридоре кто-то без конца гулко хлопал в ладоши.

Любу мы считали дурочкой, поэтому, проскакивая мимо, тайком от старших обязательно показывали ей язык, строили рожицы. А она совсем не сердилась. Если останавливались слишком близко, гладила наши затылки, приговаривая: «Ребёночек!»

Говорила не похоже на других, по-своему приглушая звонкое «ч», путая гласные, и получалось смешное «рабёнашчак». И мы, конечно, смеялись, уверенные, что только дурочка может так запутаться в простом слове.

Потом Люба уходила мыть полы. Тёрла тряпкой доски с облупившейся краской, а сама, по-прежнему виновато улыбаясь, невнятно и тихо о чём-то разговаривала с собой.

Приходила она не одна. На улице, беспокойно и часто заглядывая в подъезд, топтался в ожидании жены Чукай. Ниже Любы на голову, с длинными обвислыми усами, в чёрном долгополом пальто с широкими, по тогдашней моде, плечами и таких же, как у Любы, резиновых старых ботах – он странным образом дополнял её. Поврозь мы их и представить не могли.

Нередко Чукай приходил со скрипкой. Заглянув в подъезд и убедившись, что Люба никуда не делась, он прижимал скрипку к посеревшему от долгой носки воротнику пальто, склонял голову к деке и начинал играть...

Люди входили в подъезд и выходили; кто-то шёл дальше через двор. Рядом, за невысокой оградой детских яслей, воспитательница громко сзывала пищавших малышей. С улицы доносились автомобильные гудки. А Чукай играл...

Я не помню ни одной мелодии. Помню только, как нервно и неровно вдруг начинал плясать смычок, а резкие разорванные звуки, вырываясь из-под него, словно спешили разбежаться в стороны друг от друга. И внезапно прекратив игру, Чукай бросался к подъезду снова искать Любу.

Успокоенный и повеселевший, он выскакивал на улицу. Путаясь в полах пальто, с криком «Кыш-кыш-кыш!» бежал к нам, взмахивая длинными рукавами, как крыльями, и делая вид, что хочет кого-то поймать. А мы со смехом разбегались врассыпную, хотя совсем и не боялись его.

Закончив с подъездами, Люба шла с Чукаем к рынку в «шестой» гастроном. Там она снова мыла полы. А после продавщицы наливали ей водку в небольшую стеклянную баночку из-под кильки-частика.

Люба неторопливо пила и так же неторопливо что-то рассказывала, глядя на склянку в руках. А очередь тоже неторопливо двигалась, и кто-то из невольных слушателей вздыхал, кто-то, крестясь, шептал: «Господи, упаси!», кто-то кончиком платка отирал глаза.

Часов в десять Люба и Чукай исчезали до завтрашнего утра.

Но иногда, в конце июня, Чукай пропадал из города, а Люба отправлялась искать его, Бог весть как находила, привозила назад, и всё начиналось по-прежнему.

Зимой пятьдесят девятого мы переехали в новую квартиру, и я забыл о двух «чудных стариках». Только через много лет, во время одного из приездов домой, когда в разговоре о соседях по старому дому всплыло имя Любы, мама сказала:

– А ты знаешь – она пропала. Поехала искать Чукаю и не нашла. Вернулась сама не своя. Зиму хандрила, а с весной уехала – и всё.

– Что же он убегал от нее?

– Да не от нее. До войны они жили в Минске: интеллигентная семья, дети. А когда эвакуировались, при бомбёжке поезда у них на глазах детей убило. Вот Чукай и убегал спасать их.

...Сколько разных скрипок слышал я! Но ни одна до сегодняшнего дня почему-то не напомнила мне скрипку Чукаю – скрипку Войны. И разве память в этом виновата?

А скрипка в подъезде всё играла...

И мне показалось: стоит нажать звонок – дверь откроется, и я войду в свое послевоенное детство, где среди солнечного утра Люба по-прежнему моет лестницу в нашем доме, а Чукай, прижав голову к неразлучной скрипке, так же неровно водит смычком.

Я подойду, и за того пятилетнего мальчишку, за себя сегодняшнего, забывшего двух безвестно пропавших «стариков», скажу:

– Простите! Простите за всё!

И когда Чукай, прервав игру, бросится к открытой двери подъезда, я впервые вместе с ним – среди рёва самолетных моторов, воя падающих бомб и их взрывов – услышу детский пронзительный крик:

– Ма!..

1987 г.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Детство голоногое моё!
Сколько счастья – просто быть мальчишкой:
Мы сегодня на парад идём!
Заводской АН-2 скользит над крышами:

С неба разноцветная метель
Засыпает улицы листовками.
Хочется взлететь или запеть.
Щеголяет детвора обновками.

Духовых оркестров разнобой,
От медалей – солнечные зайчики.
Золото знамён над головой
И шаров взлетающие мячики.

У подъезда фронтовик-сосед
Костылём стучит не в такт мелодии,
И багряно полыхает свет
На эмали боевого ордена.

Верится, что враг везде разбит
И победа навсегда за нами!..
Почему ж заплакал вдруг навзрыд
Инвалид, закрыв лицо руками?

...В кепке, в старом сером пиджаке,
До бела под мышками истёртом,
Выходил он посидеть в тенишке,
«Козью ножку» свертывал с махоркой.

Не любитель много говорить,
Слушал шум двора и птичье пенье.
Не спеша сигарку докурив,
Шёл домой: все двадцать шесть ступеней

Без протезов – горькая нужда! –
Стиснув зубы, штурмовал раз в сутки.
И шутил: «Ну, летом – ерунда!
Вот зимой – в каких ходить обутках?»

В холод он и впрямь не выходил,
Видно прав: какой с него гулёна...
Тихо, незаметно рядом жил,
Ждал тепла, раз в месяц – почтальона.

Что он вспоминал? Последний бой?
Как без ног очнулся в медсанбате?
...Только умер, брошенный роднёй,
В богадельне, на чужой кровати...

А пока – он жив, и май опять:
Самый главный праздник для солдата!
В полный рост стараясь твёрже встать,
Как он в бой вставал не раз когда-то,

Посреди пятидесятих лет
Костылем победно салютует,
Будто вправду отыскал ответ:
Больше никогда войны не будет!

Детство промелькнувшее моё!
В День Победы – не унять тревоги –
Вижу: с костылями наотлёт
В полный рост встаёт солдат безногий!..

** ** **

Мне опять сегодня снилось детство,
Западная улица, дом пять,
Ясли за забором по соседству,
С малышнёй, что вывели гулять.

Во дворе фонтан журчал довольно,
В нём плескался кто-то из детей.
Сквер, травы зелёное приволье,
Поджидали к вечеру гостей.

Шли домой с завода наши папы.
У сараев кто-то пас цыплят.
Серый кот струной прижался к лапам
И с цыплят давно не сводит взгляд.

Снились мне соседские ребята –
Вова Волков и Сергей Вознюк:
Улетели души их куда-то,
Словно птицы осенью – на юг.

Словно стёрлась времени граница,
Шёл с работы заводской народ...
Он всегда, всю жизнь мне будет сниться,
Пятьдесят шестой далёкий год,

Будка с газировкой на «Центральной»,
Продавцу, отдав свой пятак,
Важно скажет: «Лей в стакан хрустальный!»,
Поселковый Гера-дурачок.

И никто вокруг не засмеётся:
С головой у Геры – с той войны,
Что, как сердце, в каждом болью бьётся –
Страшной, горькой болью всей страны.

Снится так непоправимо поздно,
Но ведь в ком-то тоже он живёт:
 Мирный, с близким эхом битвы грозной,
 Пятьдесят шестой далёкий год...

ГОРОДУ МОСКВА

Городу юности моего отца,
его брата Алексея и сестры Анны

Москва, июль пятидесятых,
Вокзалы полные битком
Людей с узлами, провожатых,
И очередь за кипятком.

Машин потоки мчатся мимо,
В мундирах, на конях верхом –
Милиция. Бензином, дымом
Пропахло всё насквозь кругом.

В домах – шипенье керогазов,
И в коммунальной тесноте
На кухне говорят все сразу,
А запоют – так тоже все.

И электрички в Клин, в Голутвин,
Сбегают с криком от платформ
К покою дачных мест уютных
Лишь вскинет руку семафор.

И в Химках, Кратово, Ильинке,
Прожив короткий выходной,
Народ присядет по старинке
И заспешит опять домой

В свои родные коммуналки,
Где «КВН»-ов* тихий свет...

Мне вспомнился вдруг полдень жаркий
Москва пятидесятих лет,

Вокзал, динамик что-то гаркнул,
И я увидел, наконец:
Из тёмного проёма арки
Ко мне шагнул живой отец...

«КВН»* – «КВН-49» (Кенигсон, Варшавский, Николаевский – 1949 г.)
– чёрно-белый телевизор, выпускавшийся в СССР в различных модификациях
с 1949 по 1960 год.

** ** **

Моему деду
Степану Степановичу Черепякину –
участнику штурма Перекопа,
помощнику машиниста в годы
Великой Отечественной войны
посвящается

Январский снег в окне сверкает,
Свет фонарей и лунный свет,
И тишина вокруг такая,
Какой, наверно, в небе нет.

Вдруг, отчего – и сам не знаю,
Всплыл в памяти напев родной:
«Вот мчится тройка почтовая
По Волге-матушке зимой...»

Как часто в невозвратном прошлом,
Мне песню эту пел отец,
А дед, вихры мои взъерошив,
Шептал: «Ты слушай, оголец!»

Седой, глаза прикрыв рукою,
Сам горько песне вслед вздыхал,
Как будто что-то знал *такое*,
Чего напев не досказал,

Что рвалось в том минорном ладе
Наружу с горечью слепой,
С чем человек не в силах сладить,
Со всей несказанной тоской,

С какую русское раздолье,
Его леса, поля, снега,
Вливаясь в нашу кровь, невольно
В ней остаётся на века?

Я песню слово в слово помню,
И вижу, словно наяву,
Как мчат дорогой зимней кони
И постромки вот-вот порвут...

Куда летит та тройка-птица?
О чём мой дед грустил тайком?
От песни почему не спится
И слов неясных в горле ком?

И тишины не разбивая,
Плывёт сквозь ночь напев родной:
«Вот мчится тройка почтовая
По Волге-матушке зимой...»

ПОБЕГ

Памяти старшего брата моего отца
Михаила Дмитриевича Покидышева
посвящается

...Два дня уже мы с ним лежим в болоте,
А, кажется, – полжизни здесь лежим.
От голода и холода колотит,
И мысль одна: «Остаться бы живым!»

Я даже его имени не знаю,
А видел только номер на груди:
Собаки вслед захлёбывались лаем,
Лишь арналёт помог от них уйти.

В пролом в заборе многие рванули.
Не всем тогда с побегом повезло:
Со всех сторон вдогонку мчались пули,
И вечер выпал светлый, как назло...

По горло нахлебались «Deutscher Ordnung»*.
В гнилой воде по горло, молча, ждём:
Вот-вот земля от русских танков вздрогнет,
Мы встретим их и вместе в бой пойдём...

Так и случилось... Мы ушли с десантом...
Потом я до Победы воевал.
А мой напарник – его звали Санька –
В боях за Краков смертью храбрых пал.

Я был наводчик. Он служил в пехоте...
Войну... Наш плен... Забыть бы наконец!

Но снится снова: мы лежим в болоте.
А в стороне – концлагерь Тростянец**.

И не хочу – но год за годом снится
Снарядами разломанный забор,
И до утра откормленные фрицы
Из автоматов бьют по мне в упор...

* Deutscher Ordnung (в им. падеже: Deutsche Ordnung) – немецкий порядок

** В лагере смерти Тростянец гитлеровцами уничтожено свыше 200 тысяч
военнопленных и мирных граждан

МОНОЛОГ ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ

Пусть нам говорят: «Что войну вспоминать?
Ну, было – и сплыло. Ушло без возврата».
Вернись время вспять, я б сорвался опять
На страшную ту, что досталась солдату.

Где горе повсюду в обнимку с бедой,
След в след, день и ночь, за тобою ходили.
Где те, кто сегодня остался живой,
Без слёз, стиснув зубы, друзей хоронили.

У каждой войны счёт потерям есть свой,
Свой враг и две даты: вчера и сегодня.
И если с войны я вернулся живой,
То долг мой святой – всех погибших в ней помнить.

Всех тех, кто остались в далёкой земле,
С ней кровью своею навек побратались.
Остались с войны «похоронки» семье,
Не каждому даже медали достались.

Лишь память святая не знает границ,
Уходит опять на сражение со смертью.
Не каждому в поле стоит обелиск,
Но каждый пред памяти высью бессмертен.

Там вписаны все, даже кто без имён
Легли в Диком поле, у речки Непрядвы.
И Воинской Славе от древних времён
Народная Память пусть будет наградой!

УРОК ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Рассказ

Лёша торопился, хотя идти было очень неудобно: жёсткий фуляр с баяном оттягивал руку, а тут ещё сплошной гололёд. Посреди февральской оттепели ночью ударил мороз и к утру все улицы превратились в каток. В нормальную погоду от дома до троллейбусной остановки Лёша дошёл бы за двадцать минут, но сегодня, наверное, и за полчаса не успеть. Хорошо, что из дома по привычке вышел с большим запасом.

Надо же было погоде именно сегодня преподнести такой сюрприз. В конце прошлого занятия в музыкальной школе Лёшин учитель по классу баяна Владимир Георгиевич, расписываясь в дневнике, вдруг сказал:

– Да, чуть не забыл. Школьные баяны на несколько дней отдают мастеру на проверку. У тебя дома есть инструмент?

– Есть, – ответил Лёша.

Ему нравились школьные тульские баяны, но их тёплый и мягкий звук казался слишком домашним, без тех маняще-загадочных, будто слегка картавящих, обертонов, которыми отзывался отцовский аккордеонированный* «Ленинград». На нём даже обыкновенные гаммы звучали так завораживающе, словно сейчас баян сам по себе заиграет что-то необычное, никогда никем раньше не слышанное. И в отличие от

тульского собрата планки от кнопок на правой клавиатуре у него не были на виду, поэтому баян выглядел нарядным концертным инструментом.

– А прийти с ним на следующее занятие сможешь?

Лёше до того хотелось показать свой баян, что он, не задумываясь, пообещал:

– Конечно, смогу.

Зачем учителю знать, сколько километров его ученику добираться до школы? Пообещал смочь, значит, сможет.

И вот теперь, поскользываясь и оступаясь, Лёша думал только об одном: нужно успеть на урок и не разбить инструмент...

Музыка. Она окружала Лёшу с раннего детства. Как только их семья переехала из барака в «двенадцатиметровку» в коммунальной квартире, папа сразу купил себе баян.

У папы был замечательный баритон. Гуляя с Лёшей, он всегда что-нибудь напевал. И однажды, когда папа только-только допел свою любимую «Вижу чудное приволье...», к ним подошла какая-то незнакомая пожилая красиво одетая тётя:

– Здравствуйте. Давайте знакомится. Меня зовут Ираида Сергеевна. Я – заведующая художественной частью заводского клуба. А вас как звать?

Папа назвал и себя, и Лёшу.

Ираида Сергеевна улыбнулась:

– Ну, Лёша пусть пока подрастает, а Вы, Дмитрий Борисович, приходите в клуб на репетицию заводского хора. Нельзя с таким голосом только для себя петь.

Так папа стал солистом хора. А после замечания Ираиды Сергеевны «Музыкальный слух – это хорошо. А кто за Вас нотную грамоту учить будет?», в доме вначале появились книги по музыкальной грамоте, а вслед за ними – баян.

...Играть папа научился быстро. Ноты популярных песен баянисты-любители доставали всеми возможными путями, обменивались ими между собой.

Заметив как-то, что Лёша увлечённо рассматривает одну из выписанных книжек, папа спросил:

– Нравится? А понимаешь что написано?

Лёша с гордостью показал папе страницу:

– Я уже вот сколько выучил.

– А ноты мне сможешь переписать? Мне их на день дали, не успеваю.

Попробуй, а я на работу пошёл.

Лёша переписывал до вечера. У него не было беглого нотного почерка папы, поэтому рисунок каждой ноты он выводил по-книжному правильно и долго, но переписал всю песню.

Лёше тоже хотелось научиться играть на баяне. Тайком от папы, когда тот уходил на работу, Лёша доставал баян и пытался «на слух» что-нибудь сыграть или, как выражались баянисты, «подобрать». И конечно, папа застал его за этими попытками:

– Нет, сынок. Так дело не пойдёт. Учиться нужно у настоящих учителей. Это мне уже поздно, потому и приходится самому... А ты узнай где обучают.

При Дворце культуры алюминиевого завода был детский оркестр народных инструментов, но баянист в оркестре тоже уже был.

Однако руководитель оркестра Павел Геннадьевич, студент-заочник Свердловской консерватории, предложил Лёше играть на басовом контрабасе:

– Контрабас – это душа оркестра. Ты будешь задавать ритм. Понимаешь, какой важный инструмент тебе доверяем?

Почти два года Лёша играл на контрабасе. Но в один из июньских дней Павел Геннадьевич, взяв Лёшу за плечи, с улыбкой сказал:

– Ну, что ж. Пора учиться дальше.

И привёл Лёшу в музыкальную школу к своему однокурснику Владимиру Георгиевичу. Лёшу прослушали и приняли.

...Ещё подходя к троллейбусной остановке, Лёша сразу заметил неподвижность проводов. Они не дрожали и не раскачивались как обычно, когда троллейбус вот-вот покажется на остановке. И народу, не смотря на утренний час, не было. Куда все подевались?..

На дверях одноэтажного здания белел прикрепленный школьными кнопками листок с надписью от руки химическим карандашом: «Из-за гололёда троллейбусы не ходят».

Как он сам не догадался? Никакому троллейбусу в гололёд не осилить дорогу от их посёлка до посёлка алюминиевого завода с её крутым спуском и таким же подъёмом между посёлком «Красная Звезда» и ТЭЦ.

О том, чтобы вернуться домой и речи не могло быть, ведь Владимир Георгиевич ждёт. Один километр дороги от дома до троллейбусной остановки уже позади. Но ещё четыре с лишним километра с баяном в руках? Вместе с футляром он весит больше тринадцати килограмм! Даже если Лёша придёт на занятие, или как в музыкалке говорят на урок по специальности, в каком состоянии будут у него пальцы? Он же ничего, даже гамму до-мажор, не сыграет!

Но он дал слово, значит, надо идти. Ему двенадцать лет и он знает наизусть, наверное, каждый метр предстоящего пути. С каждым отрезком дороги связано какое-нибудь Лёшино воспоминание. Пешком на УАЗ** и обратно проходил он здесь не раз. Правда, это было летом, когда, тайком от родителей, с друзьями, они убегали купаться на Исеть. А сейчас ему всего-то нужно дойти в одну сторону: всё равно скоро дорогу посыплют песком и начнут ходить и троллейбусы, и автобусы.

И Лёша пошёл.

За остановкой сразу почувствовались резкие порывы ветра, предвещающие смену погоды. Местами из-под кустов уже намело остатки сухого снега, но он только припорошил лёд, скрывая небольшие ямки, и идти по нему было не легче, чем по гололёду.

Мысленно Лёша разбил свой путь на короткие участки. Сейчас он старался дойти до следующей остановки «Посёлок «Красная Звезда». Это недалеко: чуть больше половины километра, две тысячи с небольшим его, Лёшиных, шагов...

...На одной из улиц посёлка, недалеко от остановки, живёт его первая учительница Галина Васильевна.

Как он и его одноклассниками любили приходить к ней в гости! Вначале их усаживали пить чай за круглым столом в небольшой комнате деревянного дома: за окнами виднелись высокие сугробы, а от печки наплывали убаюкивающие волны тепла. Потом убирали чашки, печенье и начинали готовиться к школьному празднику.

В их старой двухэтажной школе уже тогда не хватало свободных помещений, а в классах порой насчитывалось до тридцати с лишним учеников. Обязательно кому-то из тридцати учёба давалась с трудом, и учителя оставались после уроков заниматься с отстающими. Поэтому Галина Васильевна и приглашала ребят к себе: в весёлой суматохе пролетали час за часом, зато успевали и новую классную газету подготовить, и к литературному монтажу стихи подобрать...

На этой же улице, но с левой стороны дороги, жил тогда Серёжа Пустовалов. В третьем классе, катаясь на лыжах, он сломал ногу, и каждый день один из учеников класса приходил заниматься с Серёжей, чтобы он не отстал от остальных. Серёжина мама, встречая нового «учителя», волновалась, даже на «Вы» переходила:

– Вы проходите, проходите, раздевайтесь: у нас тепло, с утра печь затопили.

А «учитель», покраснев от непривычного к нему обращения, торопился проскочить к однокласснику.

Пока оба разбирались с уроками, Сережина мама, стараясь не шуметь, готовила для них угощение, потом поила чаем. Сидя с угла стола, смотрела на

детей, тайком вытирала глаза краем головного платка, и, не сдержавшись, роняла:

– Ребята, вы даже не знаете, какие вы хорошие.

Тут уж и «учитель» и ученик окончательно покраснели вместе от смущения.

Когда Сережа поправился и вернулся в класс, с ним не нужно было после уроков заниматься дополнительно ...

За «Красной Звездой» начинался самый трудный отрезок дороги. Крайние дома посёлка по обеим сторонам лепились около скального обрыва. Слева из-за посёлка, зажатая между высоких берегов, повторяя изломы обрыва, от водопада к водопаду, срывалась вниз узкая речка Горячка. Сворачивая направо почти под прямым углом, она вырывалась на ровное место и, уже успокоившаяся, текла дальше.

Другой берег реки поднимался также круто. Поэтому и дорога, вслед за обоими берегами, вначале резко сбегала вниз, а потом устремлялась вверх к Финскому посёлку. Правда, теперь остановку стали называть «ТЭЦ» потому, что напротив Финского посёлка и стоит сама ТЭЦ, вплотную примыкая к забору алюминиевого завода.

Для женщин всей округи ТЭЦ была сущим наказанием, пока её трубы не сделали выше и не накрыли колпаками золоуловителей: раньше в сторону какого посёлка подует ветер, там и станет серым от прилетающей золы всё вывешенное для просушки бельё. Потому, прежде чем вешать бельё, хозяйки в буквальном смысле смотрели: откуда ветер дует?..

Закончились последние дома, и теперь, с громадного открытого пространства между посёлком и ТЭЦ, ветер налетал с утроенной силой.

Перекладывая футляр с баяном из руки в руку, оступаясь и поскальзываясь, Лёша осторожно начал спускаться к Горячке. До неё шагов шестьсот, но спуск крутой как со снежной горки: того и гляди на самом деле упадёшь и скатишься до середины моста.

Вода в речке и вправду была горячая: в неё сбрасывала свои отработанные отходы ТЭЦ. Поэтому даже в сильные морозы речка не замерзала, а клубилась облаками пара, который, остывая, укрывал всё вокруг мохнатой серебрящейся шубой инея.

...В Горячке Лёша иногда купался с друзьями, хотя вода в ней никогда не бывает чистой. Цветом своим она похожа на воду в банном тазике, когда из неё не только вынули заваренный веник, но в ней же ещё и голову с мылом помыли. Да и на вкус, если нечаянно попадёт в рот, не лучше. Одно у Горячки преимущество: много ближе Исети и карьеров Силикатного завода, за которыми давно закрепились худая слава опасных мест.

И на реке, и на карьере почти сразу от берега дно резко уходило вниз, а на Силикатном ещё и ледяных ключей много на каждой «яме». «Яма» – это часть карьера, где земснаряд силикатного завода уже закончил добычу песка, а вода из бесчисленных ключей заполнила выемку.

Попробуй попроситься у родителей туда!.. До сих пор жива старая-престарая шутка, ответ родителей на такую просьбу: «Утонешь – домой не приходи!» Поэтому ребята постарше опасались брать с собой «малышню», знали: послушайся – достанется за них по первое число.

Вот до отъезда в пионерлагеря и в деревни к родным и ходили на Горячку. Но и Горячка была по-своему коварной. Часам к трём дня на ТЭЦ начинали промывать какие-то котлы, и пятна мазута, растянувшись тонкой цветной плёнкой по поверхности воды, от водопада к водопаду, неслись одно за другим по крутому руслу Горячки. Смыть такую «чёрную метку», беспощадную улику нарушения родительского запрета, можно было только в бане, с содой, которую приходилось покупать по дороге домой...

Воспоминания о лете отвлекли Лёшу от дороги. Под ногу попал ледяной выступ, и, поскользнувшись на нём, Лёша упал на спину. Баян он

успел подхватить обеими руками и прижать к груди, но сам проехал метров пять вниз по придорожному тротуару.

Осторожно поднявшись, Лёша не стал очищать пальто, боясь потерять драгоценное время, и уже гораздо осторожнее, повернувшись боком к тротуару, стал спускаться дальше, выбирая на гололёде припорошенные снегом углубления. Хорошо, что порывы холодного ветра дули навстречу, а не толкали вперёд, вниз. Выходя из дома, Лёша не застегнул пальто на самую верхнюю пуговицу, и теперь, то подбородком, то носом, он натыкался на выбившийся при падении шарф. А ветер, отыскав незащищённое место, снова и снова прорывался туда, прижимался к рубашке, выстуживая её...

Наконец добравшись до подножия спуска, Лёша на минуту остановился. Он поставил футляр одним длинным краем на лёд, другим – себе на ноги, не снимая варежек, поправил шарф. У Лёши не было часов, и он не знал, как долго уже пытается дойти, опаздывает, или пока успевает на урок. И спросить не у кого было: ни одна машина не обогнала его и не попала навстречу.

Слева, над горячей водой, огромными густыми облаками клубился туман. Напрасно ветер пытался разогнать его. Лишь время от времени, с того или другого края, отрывались куски белой пелены, похожие на большие простыни, и, тая в воздухе, уносились к посёлку. Налетавшие на Лёшу порывы, словно с удивлением натыкались на него, и мчались дальше к устью впадения Горячки в Исеть.

Лёша прошёл ровный участок дороги над речкой. Впереди был километр затяжного подъёма к Финскому посёлку. Теперь встречный ветер сталкивал его назад.

И опять, как лыжнику на крутом косогоре, нужно было идти боком, поочередно подтягивая одну ногу к другой. Баян, словно став намного тяжелее, тянул к земле. Приходилось держать футляр тоже боковой стороной навстречу ветру, чтобы вместе, и ветер, и тянущий книзу груз, не опрокинули Лёшу назад. В самых скользких местах Лёша сходил на обочину,

и, проваливаясь в тёмный снег почти по колени, высоко поднимая баян, шаг за шагом, продвигался вперёд.

И вдруг снова упал, провалившись ногой почти до пояса в какую-то яму у края тротуара. Упал на правый бок, вскинув руки с баяном над собой. Но теперь, чтобы выбраться из сугроба и встать, пришлось поставить футляр на твёрдое место, и, не выпуская его из левой руки, самому, ползком, подтянуться туда.

Уже отряхиваясь, Лёша узнал эти кусты. Как он мог забыть про глубокую вымоину около них?..

Прошедшим летом, когда он, Володя Пшеницын, Коля Казанцев и прицепившийся к ним Витька Черепанов, возвращались с Исети, их настигла здесь страшная гроза: с диким ветром, оглушающим громом и невиданным ливнем, будто ты идёшь сквозь бесконечный водопад. Тогда они спрятались под этими высокими кустами. Вцепившись в мокрые ветви, смотрели, как грязный водяной поток, вместе с камнями, вскипая брызгами и пузырями, нёсся около их ног вниз...

Гроза умчалась в сторону посёлка, и они перепрыгнули через промоину на тротуар. Но самый младший, Витька, вечный невезунчик, конечно, сорвался в грязь и заорал:

– Ой, я ногу больно порезал!

А сам тут же опустил руку в тёмную жижу:

– Тут железяка какая-то торчит.

– Да брось ты её. Руку лучше давай, – прикрикнул на него Коля.

Но Витька, с натугой, уже тащил что-то из остатков мелеющего потока. Коля, обхватив его руку своей, потянул вверх и, всхлипнув, грязь отдала свою добычу прежних лет. Ребята ахнули: Витька и Коля держались за плоскую позеленевшую медную рукоять старой сабли. Все они знали: в этих местах воевал полк «Красных орлов», но представить себе не могли, что именно здесь

мог идти бой, и русские на русских мчались в рассыпавшейся лаве, вращая саблями над головой...

– Пошли домой, пока ты ещё и череп не нашёл, – растерянно бросил Володя.

На другой день, также вчетвером, в белых рубашках и пионерских галстуках, ребята отвезли саблю в городской краеведческий музей...

И снова шаг за шагом Лёша поднимался вверх.

Вот уже стал виден крайний барак Финского посёлка. Здесь раньше жила Лёшина одноклассница Римма Керонен.

«Как же она в такую погоду отсюда в школу-то добиралась? – подумал Лёша. – Ведь наверняка ей с первого-то класса хотя бы раз выпадала погода и похуже? То ли родители приходили за ней, то ли у кого-нибудь пережидала?»

...Родители Риммы вместе с другими финнами были высланы на Урал, кажется, в самом начале войны. В то время и появился около дороги Финский посёлок. Наверное, высланные держались обособленно, потому что Лёша никогда не слышал от взрослых или ровесников о друзьях-финнах. Значит, и приютить Римму в непогоду после школы никто не мог. Трудно представить себе как семилетняя кроха одна добиралась в школу и обратно через двухкилометровый безлюдный пустырь, на котором кроме полыни не росло ничего: что может вырасти там, где с неба сыплется зола и оседает фтор с алюминиевого завода? Только полынь и выживет...

Римма плохо понимала и говорила по-русски, поэтому и оценки у неё не были блестящими. Но она была во всём предельно старательной, честной, совершенно неспособной ни на какие хитрости, а тем более подвести кого-то. Говорила Римма только тогда, когда к ней обращались, сразу же краснея от обращённого на неё внимания, а слова произносила медленно, тягуче, с таким мягким акцентом, словно среди звуков не было ни одной буквы «р». После

уроков Римма сразу исчезала из школы, и Галина Васильевна не задерживала её. Но как маленькая девочка умудрялась из пропылённой дали приходить в школу всегда аккуратно одетой, с тщательно завязанными бантами на льняносветлых волосах?..

Уставший и вспотевший, одолев долгий подъём, Лёша попытался отдышаться. Он поставил баян на скамейку остановки «ТЭЦ» и с надеждой посмотрел на троллейбусные провода. Но они по-прежнему качались только от ветра, без той особой дрожи, которая предвещает появление троллейбуса. С высоты остановки пройденная дорога просматривалась до самого посёлка, и на ней тоже не было видно машин.

Осталось совсем немного: около километра без всяких спусков и подъёмов до автобусной остановки «УАЗ».

Лёша взял баян. Остановку «ТЭЦ» он не любил: её пустыри и тёмно-серые бараки выбивались из общего облика города, казались случайным пятном на нём. А ещё непонятно почему, но именно сейчас, вспомнилось событие, о котором Лёша не хотел рассказывать родителям.

...В тот день, около года назад, он ехал в автобусе на репетицию детского оркестра народных инструментов в ДК алюминиевого завода. Автобус ещё не тронулся с остановки «ТЭЦ», как навстречу ему, из-за поворота со стороны УАЗа, надрывно тарахтя, появился колёсный трактор. За трактором, на буксировочном тросе, болтаясь из стороны в сторону, волочился по асфальту какой-то серовато-зелёный ком размером с большую бочку.

Опасаясь столкновения с буксируемым грузом, водитель автобуса остановился и вместе с пожилой женщиной-кондуктором стали наблюдать за приближающимся трактором. Пассажиры тоже повернулись к окну, желая понять причину остановки.

– Ой! – вдруг вскрикнула кондуктор и закрыла лицо руками, а водитель, глухо крикнув, опустил голову, словно не желая видеть происходящего.

Теперь и Лёша с пассажирами поняли, *что* тащил за собой трактор.

Цепляясь острыми гранями за асфальт, а потом, переворачиваясь через них, ударяясь то одной, то другой стороной об дорожное покрытие, с петлёй стального троса на шее, за трактором волочился такой всем знакомый бронзовый бюст Сталина. Словно сопротивляясь, он опять и опять цеплялся за дорогу, вздыбливался над ней и с размаху падал, влекомый мощью трактора. И был момент, когда бюст развернуло к пассажирам, и показалось, что такие знакомые по бесчисленным фотографиям глаза словно взглянули в глаза пассажиров, не понимая, *почему можно так обращаться с памятником, почему никто не прекратит надругательства над ним?*

Пассажиры сидели, опустив головы, и старательно не встречались взглядами.

Трактор свернул с основной дороги в сторону свалки, находившийся неподалёку, а автобус поехал дальше. Но до конечной остановки никто ни слова не проронил.

«Взрослых иногда совершенно невозможно понять» – подумалось тогда Лёше.

Он хорошо помнил поездку с родителями в Москву перед первым классом. Папа привёл его тогда на Красную площадь, по которой не раз проходил до войны в праздничных колоннах со своим Московским электромеханическим ремонтным заводом.

Они стояли напротив Мавзолея с надписью «ЛЕНИН СТАЛИН». Мавзолей в этот день не работал.

– А ты видел живых Ленина и Сталина? – спросил Лёша.

– Только Сталина. Когда Ленин умер, мне и трёх лет не было.

– А Сталина ты сколько раз видел?

– Два раза. Потом меня забрали в армию, а через два года началась война.

Лёша стоял, держась за папину руку, и думал: «Как всё-таки это здорово: увидеть Москву, Красную площадь и Мавзолей!..»

На всех папиных и маминых почётных грамотах профили Ленина и Сталина были рядом бок о бок. А теперь памятник одного из них со стальной петлёй на шее волокли на свалку.

Разве можно *о таком* рассказывать родителям?..

... Когда Лёша дошёл до Дворца культуры алюминиевого завода, места прежних репетиций детского оркестра, он только мельком взглянул на здание: теперь до музыкальной школы оставалось минут пять ходьбы.

«Интересно, правда или нет, что Дворец после войны строили пленные немцы?» – только и успела промелькнуть мысль.

Пальцы уже с трудом удерживали металлическую ручку футляра, обтянутую чёрным дерматином, намокшим от снега с варежек.

Вот уже поворот с «Алюминиевой» на «Строителей»,.. высокое школьное крыльцо, раздевалка...

Лёша потянул на себя наружную дверь в класс, потом толкнул плечом внутреннюю, и ввалился с баяном в комнату.

Владимир Георгиевич уже собирал свои бумаги со стола.

– Троллейбусы не ходят, – не проговорил, а хриплым шёпотом выдохнул Лёша. – Вот, я пешком...

– И откуда ты шёл?

– С посёлка Чкалова***.

Учитель по-новому, внимательно, посмотрел на Лёшу.

– Ты присядь пока, отдохни. А я с твоего разрешения посмотрю инструмент, раз уж ты его принёс.

Лёша непослушными замёрзшими руками пододвинул баян к Владимиру Георгиевичу.

Тот открыл футляр, вынул инструмент из куска чёрной бархатной ткани и тоже внимательно осмотрел обе клавиатуры, осторожно, чуть-чуть развёл

меха и снова свёл их, нажимая на кнопку воздушного клапана в левой части корпуса.

– Конечно, после такой прогулки по морозу проверить его звучание нельзя. Но всё-таки я тебе порекомендую чаще играть на школьном баяне. У тебя хороший баян, но он больше подходит для опытного баяниста, с выработанной постановкой правой руки. Старое задание выучил? На следующем занятии послушаю. А сейчас давай дневник, я напишу тебе, что выучить к другому уроку.

Из того же футляра Лёша достал дневник и толстый «Самоучитель игры на баяне».

Владимир Георгиевич, сверяясь с «Самоучителем», начал что-то писать. Закончив, он потянул открытый дневник Лёше.

Лёша смотрел на запись учителя и не верил глазам: в графе «специальность» напротив сегодняшнего задания стояла «пятёрка».

Владимир Георгиевич улыбнулся:

– Ты её заслужил. А играть пока всё-таки старайся на тульском баяне...

** ** **

Много лет прошло с тех пор.

И однажды, в июле, Алексей приехал в отпуск в родной город с шестилетней дочкой.

На остановке напротив проходной алюминиевого завода кондуктор вдруг объявила:

– Троллейбус дальше не идёт. Линия обесточена.

На возмущенные реплики пассажиров она устало ответила:

– Ну, не я же напряжение отключила.

Почти все ехали на работу в ночную смену на металлургический завод. Часы над проходной завода показывали 22.15.

– А что? – вдруг засмеялся кто-то из пассажиров. – Вспомним молодость, пройдемся пешочком?

Тёплая летняя ночь ласково обняла своих неожиданных гостей.

Вдоль всей дороги ярко горели фонари. Около самых светильников крутились обязательные многочисленные мошки.

Недавние пассажиры, группами по три, по четыре человека, двинулись от проходной завода к Дому обороны, к повороту на посёлок Чкалова.

Дочь вначале шла, держась за руку Алексея, но скоро устала, и он посадил её себе на плечи. Шагавший рядом мужчина, ровесник Алексея, предложил:

– Давайте Вашу сумку, удобнее нести будет.

Постепенно разговорились. Узнав, что Алексей родился и вырос в посёлке, собеседник, представившийся Олегом, сразу заинтересовался:

– А в школе какой учился? В седьмой? А я в двадцать третьей. Классе в пятом родители уехали с посёлка на УАЗ, а работать остались на КУМЗе. И я на него же после армии устроился. Скучаю по посёлку. Вроде бы чего скучать? Жили в избушке между посёлком и «Красной Звездой»: теснота, воду принеси, дрова наруби, печку истопи – а скучаю. Да ещё как. К друзьям своим к кому в гости захожу, с кем на заводе встречу – и жить охота. Ты чё улыбаешься? Не веришь?

– Да нет. У меня тоже самое. А улыбаюсь, потому что вспомнил, как один раз, школьником, вот также пешком, но с баяном в руках, по гололёду шёл с посёлка на УАЗ на урок в музыкалку. И также троллейбусы не ходили. Что только тогда в голову не лезло...

– Ты не шутишь? И дошёл?

– Дошёл. Накануне пообещал учителю прийти – вот и пошёл.

Олег даже остановился:

– Дочь вырастет, ты ей про это обязательно расскажи. И дорогу пусть запомнит. Помнишь, как нам в детстве говорили: вырастите и поймёте, что для вас посёлок значит. А мы смеялись: ну, посёлок и посёлок – что тут понимать? А мне в армии даже Горячка наша снилась. Также вот, пойми,

почему: вонючая, грязная, с берега в неё что только не сбрасывают – а снилась.

...Первые группы бывших пассажиров, ставших поневоле пешеходами, уже прошли ТЭЦ, начали спускаться к реке.

Тёмное небо с множеством сверкающих звёзд нависало так низко, словно тоже пыталось прижаться на ночь к земле, отдохнуть на её пахучих травах, но опасалось намочить в широких водах Исети свои чёрно-бархатные одежды.

Издаലെка, со стороны Волковской плотины, доносился приглушённый рокот падающей воды.

– Пап, мы скоро придём? – услышал Алексей голос дочери.

– Скоро, совсем скоро. А тебе не нравится идти?

– Нравится, но я спать хочу.

... На развилке перед троллейбусной остановкой Алексей и Олег попрощались.

– Хорошо сегодня смена началась. А дочери ты потом всё-таки расскажи, как шёл здесь зимой. Может быть, со временем поймёт, и, может, эту ночь не забудет, – сказал Олег на прощанье.

С сумкой через плечо и спящей дочерью на руках Алексей шёл к родительскому дому привычной дорогой, которая с детства столько раз провожала и встречала его.

Провожали и встречали разросшиеся тополя на «Восточной»; двор на углу «1-го Проезда» и «Центральной», к которому примыкала старая двухэтажная школа, давным-давно распахнувшая в сентябре свои двери для нового первоклассника...

Провожала и встречала и сама спрятавшаяся за забором и деревьями школа, словно стыдясь раскрошившихся и выпавших местами кирпичей в столбиках для решётки забора...

Провожал и встречал стадион «Металлург», напоминая о жарких футбольных матчах заводских команд, тренировках и соревнованиях на его дорожках, сверкании льда и разноцветных ламп в дни проката на катке...

Провожал и встречал Дом спорта. Сколько раз, мальчишками, они пускались в «дальнее плавание» на «плотах» – брошенных строителями мостках – по «океану» талой воды внутри недостроенных стен будущего царства спорта!..

Провожал и встречал завод с проходной на улице «Центральной», как провожал и встречал каждый день его отца, родителей всех ребят посёлка, а теперь провожал и встречал выросших детей своих первых рабочих военных лет...

Провожал и встречал, как сегодня встречает, родительский дом, под кровом которого Алексей жил до отъезда на учёбу в институт.

Конечно, Алексею многое нужно рассказать дочери про родной город.

Но вначале он приведёт её на берег Исети и разрешит вволю наплескаться в изумрудно-прозрачной воде. Потом они поднимутся на скалы над рекой, будут смотреть на неё и вдыхать пропитанный запахом сосновой хвои воздух. А возвращаясь по мягкому ковру опавших сосновых иголок, будут слушать их тихие шорохи под ногами.

Он привезёт дочь на Силикатный карьер, где давно все «ямы» соединились в одно огромное озеро, а слепящий на солнце бело-золотой песок по-прежнему прячется своими краями от жары в чистую воду подземных ключей.

Он покажет ей поле бывшего заводского аэродрома. Там уже не трепещет на ветру пёстрый колпак, и не садятся заводские АН-2, но, наверное, небо над полем ещё тоже помнит рокот их моторов.

Он обязательно привезёт дочь в Старый Каменск. Они пройдут мимо купеческих домов и лабазов из красного кирпича: с полуарками окон, с ажурным железным кружевом над водосточными трубами и краями крыш.

Постоят у обелиска Героям гражданской войны 1918-1921 годов: может быть, сейчас в одной могиле покоится прах русских людей, скакавших друг на друга с саблями наголо отстаивать свою для каждого правду?.. И обязательно придут к старой плотине над Каменкой, перегородившей реку со времён Петровых.

И каждое из времён будет стоять с ними рядом: от первых поселенцев, выбравших местом своего житья берега Каменки и Исети, до нынешнего – за двадцать лет до конца века двадцатого. И сегодня это и будет для Алексея самым главным уроком по специальности: специальности отца научить своего ребёнка любить землю, на которой родился и рос...

* Тип настройки язычков баяна («в разлив», «розлив», «с биением»), альтернативный настройке «в унисон».

**УАЗ – жилой район Уральского алюминиевого завода в г. Каменске-Уральском

***Посёлок Чкалова – жилой район Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗа).

НЕПОСТАВЛЕННАЯ ТОЧКА

Можно, казалось бы, уже поставить точку в конце последнего предложения в рассказе о моих земляках и обозначить ею окончание повествования.

Но только вот память, наверное, у каждого из нас, против точки: не признаёт она на своих просторах этот знак препинания. Память может спрашивать, рассказывать, восклицать, но оборвать её точкой нельзя – у памяти всегда есть многоточие, после которого прерванный на какое-то время рассказ снова будет продолжен, пусть даже уже другим рассказчиком...

Время может отнять у человека жизнь, но не может отнять его память, если человек поделился ею с кем-то.

И сейчас, когда пришла пора поставить заключительный знак препинания, так трудно оборвать себя точкой, словно опять надолго расстаться с теми, кто поделился со мной своей памятью.

И, как всегда, в минуту расставания, без спроса, вдруг всплывут сами по себе мгновения, о которых ты давным-давно не вспоминал, но они жили и живут в недоступных уголках памяти...

...Мне шесть лет. Вот наш двор между улицами Западная, Трудовые резервы, Центральная и 1-й Проезд. Лето. Посреди двора шумит фонтан. В тени у дома наши отцы: кто-то азартно двигает шашки по картонной «доске», кто-то ещё более азартно переживает за исход игры. Вообще-то, они собрались на заводской стадион: «болеть» за футбольную команду цеха, каждый за свою, конечно. А пока есть время, решили сразиться в шашки.

В голубой тенниске с короткими рукавами рядом с ними стоит Алексей Михайлович Шипилов, тогда для меня просто дядя Лёша. С лёгкой улыбкой, как на расшалившихся детей, смотрит он на игроков, а потом и сам не выдерживает:

– Да куда ты ходишь!

Из многого почему-то запомнилось именно это...

...Пять лет спустя. Зимний субботний вечер у нас дома, уже на улице Центральной: редкий случай, когда выходные у друзей отца совпали и можно отдохнуть вместе.

На раздвинутом в большой комнате столе сейчас остались стаканы с горячим чаем и патефон. С пластинки Изабелла Юрьева поёт своё:

– Саша! Ты помнишь встречи наши?..

А тётя Надя Шатова, со смехом теребит плечо мужа, Александра Михеевича, и тоже подпевает чистым голосом:

– Саша! Ты помнишь встречи наши?..

Александр Михеевич смеётся со всеми шутке жены, а Алексей Иванович Глинкин, хлопая в ладоши, подливает масла в огонь:

– Надя! Спой ещё! А вы тоже подпевайте!

Последняя реплика обращена к моей маме и Ульяне Митрофановне, тёте Юле – жене Алексея Ивановича.

Но обе только отмахиваются от него:

– Ещё чего придумаешь!..

...Со стороны они могли показаться не очень-то серьёзными для взрослых, но я знал их и другими.

Вчера и завтра для них – тяжёлые смены в горячих цехах, с «колодцами», из которых в строго установленное время нужно доставать отождённый металл, бессонные дежурства у кроватей больных в заводской больнице, семейные заботы и хлопоты. Но сегодня у них выходной. А в выходной можно пойти летом на футбол, а зимой разделить радость встречи с друзьями...

...Павел Васильевич Душкин: немногословный, внешне казавшийся таким строгим, даже немного суровым, был с нами отзывчивым, удивительно искренним. Рядом с ним само по себе всегда возникало чувство надёжной защищённости. И ещё рядом с ним всегда была его жена Евдокия Андреевна: вместе они делили все трудности послевоенной жизни, вместе растили троих сыновей...

Наши отцы и мамы. Где они брали силы быть без преувеличения самыми лучшими? Может быть, то сложное время делало людей такими, но входя тогда в дом своего друга или одноклассника, ты чувствовал себя вернувшимся к себе домой. Это тоже не преувеличение, а факт.

Иван Прокопьевич и Анастасия Николаевна Пермяковы, Румянцева Мария Ивановна, Николай Серафимович и Галина Васильевна Полухины, семьи Казанцевых, Киселёвых, Новосёловых, Пшеницыных, Пироговых, Смирновых – разве перечислишь всех, кто дарили нам тепло своих душ!..

Пожелаем же здоровья живым, и поклонимся памяти покинувших нас!..

СОДЕРЖАНИЕ

Рецензия на книгу	3
ВОЙНА, КОТОРОЙ НЕ ЗАБЫТЬ	5
ТАМ, ГДЕ РОДИЛСЯ И РОС	7
...ТАК НАЧАЛАСЬ ВОЙНА	19
21 июня 1941 года	19
Ленинграду	20
22 июня	21
Солдатский медальон	23
ОСКОЛОК В ПАМЯТИ	24
Городу Ленинграду	62
Курсанты	66
Ладога	68
23.02.1943 г. у деревни Чернушки	69
Первый бой	71
ЧТО Я ПОМНЮ ОБ ОТЦЕ	72

ПОСЁЛОК ЧКАЛОВА	81
Пора послевоенная	110
Дома в те годы строили войска	115
Угол Школьной и Центральной	116
СКРИПКА ЧУКАЯ	117
День Победы	121
Мне опять сегодня снилось детство	123
Городу Москва	124
Январский снег в окне сверкает	125
Побег	127
Монолог ветерана Войны	128
УРОК ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ	129
НЕПОСТАВЛЕННАЯ ТОЧКА	147

На последней странице обложки разместить:

- фото автора,
- краткую биографическую справку,
- заключение В.И. Филимонова, приведенную ниже:

«... Четкость и ясность мысли, глубина проникновения в прошлое, благодарный поклон светлым образам земляков, исторически выверенные поэзия и проза, неугасающая память сердца, выплеснутая во вдохновенные строки – вот качества, которые характеризуют произведения автора, вот на каком материале создана данная книга. Нежная грусть по ушедшему старшему поколению и непоколебимая уверенность в силе духа поколения нынешнего – верная и прочная основа творчества любого писателя. Особенно такого сына своего Отечества, как Николай Покидышев».

Владимир Филимонов,
ответственный секретарь
Курганской областной писательской организации

